Эдгар Аллан По

Безумие памяти



METAMORPHOSES

Безумие памяти
Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар По. Безумие памяти
Береника
Остров феи
Падение дома Эшер
Морэлла
Лигейя
Колодец и маятник
Вильям Вильсон
Король Чума
Золотой жук

Аннотация

Непревзойденный мастер психологической прозы, художник мрачной красоты Эдгар Аллан По приглашает па прогулку по лабиринтам памяти. Где еще хранятся отголоски безвозвратно покинувшей мир любви и воспоминания опустевшего дома с пыльными трещинами на стенах. Где бродят тени прошлого, потустороннее врывается в повседневность, а смерть буднично следует по пятам. Памяти, которая способна все превратить в безумие.

Новеллы американского классика воссоздают целый мир так устрашающе и завораживающе достоверно, что без малого два столетия остаются ярким явлением в мировой литературе. Мы предлагаем открыть их заново: в путающем и роскошном оформлении великолепной современной художницы Анастасии Сикилинда.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Эдгар По
Безумие памяти

© Сикилинда А. В., иллюстрации, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Омега-Л», 2025

* * *

Береника

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

***EBN ZAIAT*[1][2]**

Перевод Константина Бальмонта

Несчастье — многообразно. Злополучие земли — многоформенно. Простираясь над гигантским горизонтом, как радуга, оттенки его так же разнородны, как оттенки этой разноцветной арки, и так же отличительны, и так же нераздельно слиты воедино. Простираясь над гигантским горизонтом, как радуга! Каким образом из области красоты я заимствовал образ чего-то отталкивающего? Символ умиротворения превратил в уподобление печали? Но как в мире нравственных понятий зло является последствием добра,

[1] Примечания: 1

Говорили мне сотоварищи, что, если бы я посетил могилу подруги, я несколько облегчил бы свои печали (*лат.*) (Ибн-Зайат). — *Здесь и далее, кроме особо отмеченных мест, примеч. перев.*

[2] Примечания: 2

Ибн-Зайат — арабский писатель и поэт XI в. — *Здесь и далее, кроме особо отмеченных мест, примеч. редактора.*

так в действительности из радости рождаются печали. Или воспоминание о благословенном прошлом наполняет пыткой настоящее, или муки, терзающие *теперь*, коренятся в безумных восторгах, которые *могли быть*.

При крещении мне дано было имя Эгей, своего фамильного имени я не буду упоминать. Но во всей стране нет замка более старинного, чем мои суровые седые родовые чертоги. Наш род был назван расой духовидцев; и такое мнение более чем явственно подтверждалось многими поразительными особенностями покоев, резьбой, украшавшей некоторые колонны в фехтовальной зале, но в особенности картинной галереей, состоявшей из произведений старинных мастеров, внешним видом библиотеки и, наконец, совершенно своеобразным подбором книг.

Воспоминания самых ранних лет связаны в моем уме с этой комнатой и с ее томами, о которых я не хочу говорить подробнее. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но было бы напрасно говорить, что я не жил *раньше*, что душа моя не имела первичного существования. Вы отрицаете это? Не будем спорить. Будучи убежден сам, я не стараюсь убеждать других. Есть, впрочем, одно воспоминание, которое не может быть

устранено, воспоминание о каких-то воздушных формах, о бестелесных глазах, исполненных значительности, о звуках горестных, но музыкальных. Воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неустойчивое, неопределенное, но подобное тени еще и в том смысле, что мне невозможно уйти от него, пока будет светить мой разум, распространяя вокруг меня свой яркий солнечный свет.

В этой комнате я родился. Пробудившись таким образом от долгого сна, выйдя с открытыми глазами из пределов ночи, которая казалась небытием, но не была им, я сразу вступил в область сказочной страны, в чертоги фантазии, в необычайный приют отшельнической мысли и уединенного знания. Удивительно ли, что я глядел вокруг себя жадно ищущими, изумленными глазами, и провел свое детство среди книг, и растратил свою юность в мечтаниях. Но *удивительно* одно — когда годы уходили за годами, когда подкрался знойный полдень моей возмужалости и застал меня все еще сидящим в старинном обиталище моих предков, — *удивительно,* как сразу в кипучих ключах моей жизни вода превратилась в стоячую, и в характере моих мыслей, даже самых обыкновенных, настала полная и внезапная

перемена. Явления действительной жизни казались мне снами, только снами, а зачарованные мысли, навеянные царством видений, сделались, наоборот, существенным содержанием моей повседневной жизни, — больше того, в них и только в них была вся моя жизнь, с ними слилась она в одно целое.

* * *

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в моем отцовском замке. Но как различно мы вырастали: я — болезненный и погруженный в меланхолию, она — легкая, веселая и вся озаренная жизнерадостным блеском. Она вечно бродила по холмам, я сидел над книгами в своей келье; живя жизнью своего собственного сердца, я душой и телом отдавался самым трудным и напряженным размышлениям, а она беспечально шла по жизненной дороге и не думала, что ей на пути может встретиться тень, не заботилась о том, что часы безмолвно улетали на своих вороновых крыльях. «Береника! — я произношу ее имя. — Береника!» И в памяти моей, на седых руинах, возникают тысячи беспокойных мыслей, как цветы, оживленные силою этого звука! О, как ярки очертания ее образа передо

мной, точно в ранние дни ее воздушной легкой радости! Красота роскошная и фантастическая! Сильфида среди кустарников Аргейма![3] Наяда среди ее источников! И потом, потом все превращается в тайну, все сменяется ужасом, становится сказкой, которая бы не должна была быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь как самум[4] обрушилась на ее существо; и даже пока я смотрел на нее, дух перемены овладевал ею, застилал ее душу, изменял ее привычки и нрав и самым незаметным и страшным образом нарушал даже цельность ее личности! Увы! Бич пришел и ушел! А жертва — что с ней сталось? Я больше не узнавал ее, не узнавал ее больше как Беренику!

---

[3] Примечания: 3

Аргейм, Арнем — крупный город в Нидерландах, расположенный на речных берегах.

[4] Примечания: 4

Самум — сухой, знойный ветер в пустыне.



Среди целого ряда болезней, причиненных первичным роковым недугом, который произвел такую страшную насильственную перемену во

внутреннем и внешнем состоянии Береники, нужно прежде всего упомянуть о самой страшной и упорной. Я разумею эпилептические припадки, нередко кончавшиеся *летаргией* — летаргией, необыкновенно походившей на полную смерть, причем в большинстве случаев после такого обмирания она приходила в себя резко и внезапно. В то же время моя собственная болезнь — употребляю это наименование, потому что мне было сказано, что иного названия не может быть при определении моего состояния, — моя собственная болезнь быстро распространялась и в конце концов приняла форму мономании, совершенно новую и необычайную, — с каждым часом и с каждой минутой она приобретала новую силу и, наконец, овладела мной с непостижимой властностью. Эта мономания, если я должен так называть ее, состояла в болезненной раздражительности тех способностей духа, которые на языке философском называются *вниманием.* Более чем вероятно, что меня не поймут; но я боюсь, что мне, пожалуй, будет совершенно невозможно возбудить в уме обыкновенного читателя верное и точное представление о той нервной *напряженности интереса, с* которой, в моем случае, силы размышления (чтобы избежать языка техниче-

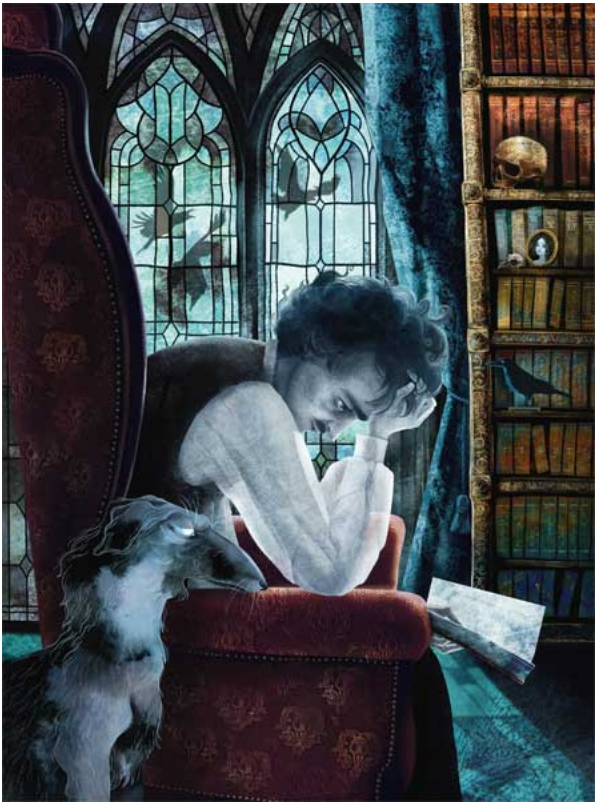
ского) были поглощены созерцанием даже самых обыкновенных предметов.

По целым часам я размышлял, неутомимо устремивши внимательный взгляд на какое-нибудь ничтожное изречение, помещенное на полях книги, или на символические иероглифы на обложке. В продолжение большей части долгого летнего дня я бывал всецело погружен в созерцание косой тени, падавшей причудливым узором на пол и на стены; целые ночи я наблюдал за колеблющимся пламенем светильника или за углями, догоравшими в камельке, целые дни напролет я грезил о запахе какого-нибудь цветка; монотонным голосом я повторял какое-нибудь обыкновенное слово до тех пор, пока звук от частого повторения не переставал наконец давать уму какое бы то ни было представление; я утрачивал всякое чувство движения или физического существования посредством полного телесного покоя, которого я достигал долгим упорством, — таковы были немногие из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих мыслительных способностей, уклонений, которые, правда, не являются вполне беспримерными, но которые отвергают всякий анализ или объяснение.

Однако да не буду я ложно понят. Неестествен-

ное, напряженное, болезненное внимание, возбуждаемое таким образом предметами по своей сущности ничтожными, не должно быть смешиваемо с задумчивостью, общей всем людям, в особенности тем, кто одарен живым воображением. Это внимание не только не являлось, как можно предположить с первого раза, крайним развитием или преувеличением такой способности, но существенно от нее отличалось и имело свое первичное самостоятельное существование. В одном случае мечтатель, или человек восторженный, будучи заинтересован предметом обыкновенно *не* ничтожным, незаметно теряет из виду этот предмет и погружается в безбрежность выводов, намеков и внушений, из него проистекающих, так что в конце подобного сна наяву, *нередко переполненного чувственным наслаждением, возбудитель*, первичная причина, обусловившая мечтательность, исчезает и забывается окончательно. В моем случае первичный предмет *постоянно* был *ничтожным*, хотя, через посредство моего неестественно возбужденного зрительного воображения, он приобретал отраженную и нереальную важность. Выводов было немного, если только были какие-нибудь выводы; и они упорно возвращались к первоначальному

предмету, как бы к центру. Размышления *никогда* не были радостными; и, после того как мечты кончались, первопричина не только не терялась из виду, но возбуждала тот сверхъестественный преувеличенный интерес, который являлся господствующим признаком моей болезни. Словом, силы ума, совершенно своеобразно возбуждавшиеся во мне, были, как я сказал, способностью *внимания*, а не способностью *созерцательного размышления*, как у обыкновенного мечтателя.



Книги в эту пору моей жизни, если и не являлись одной из действительнейших причин, обусловливавших мое нездоровье, принимали,

во всяком случае, как это легко понять, большое участие в проявлении отличительных признаков моей болезни, будучи исполнены фантазии и нелогичности. Я хорошо помню среди других трактат благородного итальянца, Целия Секунда Куриона[5], *«De Atplitudine Beati Regni Dei»*[6]; великое произведение блаженного Августина[7] «Град Божий», и сочинение Тертуллиана[8] *«De Carne Christi»*[9], где одна парадоксальная мысль: *«Mortuus est Dei Filius; credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est»*[10] — стоила мне целых недель трудолюбивого и бесплодного исследования.

Таким образом, мой разум, терявший свое равновесие только от соприкосновения с предметами незначительными, как бы имел сходство

---

[5] Примечания: 5

Курион, Целий Секунд — итальянский протестант XVI в.

[6] Примечания: 6

«О величии блаженного Царства Божия» (*лат.*).

[7] Примечания: 7

Августин, Аврелий — философ, богослов, один из важнейших деятелей в истории церкви, также известен как Блаженный Августин.

[8] Примечания: 8

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс — богослов и писатель раннего христианства, одним из первых выразил концепцию Святой Троицы.

[9] Примечания: 9

«О пресуществлении Христа» (*лат.*).

[10] Примечания: 10

Умер сын Божий; достойно веры есть, ибо неприемлемо; и, погребенный, воскрес; достоверно есть, ибо невозможно (*лат*).

с той океанической скалой, о которой говорит Птолемей Гефестион[11] и которая, оставаясь незыблемой и нечувствительной к людскому неистовству и к еще более бешеной ярости волн и ветров, содрогалась только от прикосновения цветка, называемого асфоделями[12]. И для наблюдателя невнимательного может показаться несомненным, что, обусловленная злополучной болезнью, перемена во *внутреннем* состоянии Береники должна была доставлять мне много предлогов для проявления того напряженного и неестественного внимания, природу которого я объяснил с некоторым затруднением; однако это совсем не так. В промежутки просветления ее несчастье действительно огорчало меня, и я, принимая близко к сердцу это полное разрушение ее нежного, прекрасного существа, не мог не размышлять горестно и неоднократно о тех удивительных средствах, с помощью которых так внезапно произошла такая странная насильственная перемена. Но эти размышления

---

[11] Примечания: 11

Птолемей Гефестион — древнегреческий ученый, считал, что Земля неподвижна, а небесные светила двигаются вокруг.

[12] Примечания: 12

Асфодель — многолетник с крупными цветами, символ забвения в Древней Греции. Согласно мифам, луга асфоделей растут в подземном мире Аиде.

отнюдь не соприкасались с основным свойством моего недуга и отличались таким же характером, каким они отличались бы при подобных обстоятельствах у всякого другого. Верный своему собственному характеру, мой недуг упивался менее важными, но более поразительными изменениями, совершавшимися в *физическом* существе Береники, — особенным и самым ужасающим искажением ее личного тождества.

В золотые дни ее несравненной красоты я никогда не любил ее, никогда. В странной аномалии моего существования чувства *никогда не проистекали* у меня из сердца, страсти *всегда возникали* в моем уме. В белесоватых сумерках раннего утра — среди переплетенных теней полуденного леса и в ночном безмолвии моей библиотеки — она мелькала пред моими глазами, и я видел ее не как Беренику, которая живет и дышит, но как Беренику сновидения; не как существо земли, существо земное, но как отвлечение такого существа; не как предмет преклонения, но как предмет исследования; не как источник любви, но как тему для самых отвлеченных, хотя и бессвязных, умозрений. А *теперь* — теперь я содрогался в ее присутствии, я бледнел при ее приближении; но, горько сожалея о ее полураз-

рушенном, безутешном состоянии, я припомнил, что она долго любила меня, и в злую минуту заговорил с ней о браке. И наконец приблизился срок нашей свадьбы, когда однажды, в послеобеденный зимний час — в один из тех безвременно теплых, тихих и туманных дней, которые ласково нянчат прекрасную Гальциону[13], [Так как Юпитер в продолжение времени посылает дважды по семь дней тепла, люди дали этой кроткой тихой поре название няни прекрасной Гальционы. Симонид[14]. — *Примеч. авт.*], — я сидел (и, как мне казалось, сидел один) в углублении библиотеки. Но, подняв глаза, я увидал, что предо мною стояла Береника.

Было ли это действием моего возбужденного воображения или влиянием туманной атмосферы, или это было обусловлено неверным мерцанием сумерек, или это обусловливалось волнистыми складками серых занавесей, упадавших вкруг ее фигуры, — я не могу сказать, но ее очертания

---

[13] Примечания: 13

Гальциона, также Алкиона — согласно греческому мифу, бросилась за погибшим мужем в море, чтобы разделить его участь, и была превращена в зимородка. Поэтому в период зимнего солнцестояния море успокаивается, пока Гальциона высиживает птенцов в гнезде на волнах.

[14] Примечания: 14

Симонид Кеосский — канонический древнегреческий поэт.

колебались и были неопределенными. Она не говорила ни слова; и я — ни за что в мире не мог бы я произнести ни слова. Леденящий холод пробежал по моему телу; чувство нестерпимого беспокойства сковало меня; жадное любопытство овладело моей душой; и, откинувшись в кресле, не дыша и не двигаясь, я смотрел на нее пристальным взглядом. Увы! Она страшно исхудала, и ни следа ее прежнего существа нельзя было уловить во всех ее очертаниях. Мои пылающие взгляды упали, наконец, на ее лицо.

Высокий лоб был очень бледен и озарен чем-то необыкновенно мирным; и волосы, когда-то черные как смоль, падали отдельными прядями, и затеняли бесчисленными завитками виски, и блистали теперь ярким золотом, резко дисгармонируя с господствующей печальностью всего выражения. Глаза были безжизненны и тусклы и казались лишенными зрачков. Я невольно содрогнулся и перевел свой взгляд от их стеклянной неподвижности к тонким искривленным губам. Они раздвинулись; на них отразилась улыбка, исполненная какой-то странной выразительности, и медленно передо мною открылись *зубы* этой измененной Береники. О, если бы Богу угодно было, чтобы я никогда их не видал или, увидев,

тотчас умер!

* * *

Звук закрываемой двери смутил меня, и, подняв глаза, я увидел, что Береника ушла из комнаты. Но из пределов моего расстроенного мозга не вышел — увы! — и не мог быть удален белый и чудовищный *призрак* зубов. Ни одной точки на их поверхности, ни одной тени на их эмали — ничего не упустила моя память, все заметил я в этот краткий миг ее улыбки. Я видел их *теперь* даже более отчетливо, чем *тогда.* Зубы! Зубы! Они были здесь, и там, и везде, я их видел перед собой, я их осязал; длинные, узкие и необыкновенно белые, с искривленными вокруг бледными губами, как в тот первый миг, когда они так страшно открылись. И вот неудержимое бешенство моей *мономании* пришло ко мне, и я напрасно боролся против ее загадочного и неотвратимого влияния. Среди многочисленных предметов внешнего мира я не находил ничего, что бы отвлекло меня от моей мысли о зубах. Я томился, я жаждал их необузданно. Все другие предметы, все разнородные интересы погасли в этом единственном созерцании. Они, только они представлялись моим умственным взорам,

и в своей единственной индивидуальности они сделались сущностью моей духовной жизни. Я смотрел на них под разными углами. Я придавал им самое разнородное положение. Я наблюдал их отличительные черты. Я останавливался взором на их особенностях. Я подолгу размышлял об их форме. Я думал об изменении в их природе. Я содрогался, когда приписывал им в воображении способность чувствовать и ощущать, способность выражать душевное состояние даже независимо от губ. О мадемуазель Салле[15] прекрасно было сказано, что *«tous ses pas étaient des sentiments»*[16]; относительно Береники я еще более серьезно был убежден, что *toutes ses dents étaient des idées. Des idées!*[17] А, вот она, идиотская мысль, погубившая меня! *Des idées!* — так *поэтому-то* я жаждал их так безумно! Я чувствовал, что только их власть может возвратить мне мир, вернув мне рассудок.

И вечер надвинулся на меня, и потом пришла

---

[15] Примечания: 15

Салле, Мари — балерина из известной артистической семьи, знаменитая артистка балета и балетмейстер, звезда Королевской Парижской оперы XVIII в.

[16] Примечания: 16

Каждый шаг ее полон чувств *(фр.)*.

[17] Примечания: 17

Все ее зубы полны смысла! Смысла! (*фр*.).

тьма, и помедлила, и ушла, и новый день забрезжил — и туманы второй ночи собрались вокруг, и я все еще сидел недвижно в этой уединенной комнате — я все еще был погружен в размышления, — и все еще *призрак* зубов страшным образом висел надо мной и тяготел, и с отвратительной отчетливостью он как бы витал везде, кругом по комнате среди изменчивой игры света и теней. Наконец, в мой сон ворвался вопль, как бы крик испуга и ужаса, и потом, после перерыва, последовал гул смешанных голосов, прерываемый глухими стонами печали или тревоги. Я поднялся со своего места и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидал в прихожей служанку, всю в слезах, которая сказала мне, что Береники больше нет! Ранним утром она была застигнута эпилепсией, и теперь, с наступлением ночи, могила ждала свою гостью, и все приготовления для похорон были уже окончены.

* * *

Я увидал себя сидящим в библиотеке, и я опять сидел здесь один. Я знал, что была полночь, и я отлично знал, что после захода солнца Береника была погребена. Но относительно этого мрачного промежуточного периода у меня не было

никакого положительного или, по крайней мере, никакого определенного представления. И однако же воспоминание о нем было переполнено ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом еще более страшным в силу своего уклончивого смысла. В летописи моего существования была чудовищная страница, вся исписанная туманными, гнусными и непонятными воспоминаниями. Я старался распутать их — напрасно. И время от времени, как будто дух отлетевшего звука, в моих ушах, казалось мне, содрогался звенящий, пронзительный крик резкого женского голоса. Я что-то сделал — но что? Я спрашивал себя, громко повторяя этот вопрос, и шепчущее эхо комнаты отвечало мне: *«Что?»*

На столе около меня горела лампа; близ нее стоял маленький ящик. Он ничем не был замечателен, и я часто видал его раньше, он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал *сюда,* на мой стол, и почему я содрогался, разглядывая его? Это было необъяснимо, и взор мой, наконец, случайно упал на страницу открытой книги — и на фразу, подчеркнутую в ней. То были необыкновенные и простые слова поэта Ибн-Зайата: *«Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas».* По-

чему же, когда я прочел их, волосы стали дыбом у меня на голове и кровь оледенела в моих жилах?

Послышался легкий стук в дверь библиотеки — и бледный, как мертвец, в комнату на цыпочках вошел слуга. Его глаза были дикими от ужаса, и, обращаясь ко мне, он заговорил дрожащим, хриплым и необыкновенно тихим голосом. Что говорил он? Я расслышал обрывки фраз. Он говорил, что безумный крик возмутил безмолвие ночи, что все слуги собрались, что в направлении этого звука стали искать; и тут его голос сделался ужасающе отчетливым, когда он начал шептать мне об изуродовании тела, закутанного в саван, но еще дышащего, еще трепещущего, *еще живого!*

Он указал на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорил ни слова, и он тихонько взял меня за руку; на ней были следы, вдавленные следы человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Я смотрел на него несколько минут: это был заступ. С криком я бросился к столу и схватил ящик, стоявший на нем. Но я не мог его открыть; и, охваченный дрожью, я выпустил его из рук, он тяжело упал и разбился на куски; и из него с

металлическим звуком покатились различные зубоврачебные инструменты, а среди них там и сям рассыпались по полу тридцать два небольших белых куска цвета слоновой кости.

Остров феи

Nullus enim locus sine genio est
***SERVIUS*[18][19]**

Перевод Михаила Энгельгардта

Музыка, — говорит Мармонтель в своих «Contes moraux» которые, точно в насмешку над их духом, упор но превращаются у наших переводчиков в «Нравоучительные рассказы», — музыка единственный дар, наслаждающийся самим собою; все остальные нуждаются в обществе». Он смешивает здесь наслаждение, доставляемое сладкими звуками, со способностью творить их. Музыкальный дар, как и всякий другой, может доставлять полное наслаждение лишь в том случае, когда есть посторонние люди, которые могут оценить его; и так же, как и всякий другой, он производит на душу действие, которым можно наслаждаться

[18] Примечания: 18
Нет места без своего гения *(лат.)* (Сервий).

[19] Примечания: 19
Сервий Туллий — древнеримский царь, с именем которого связано множество легенд и мифов.

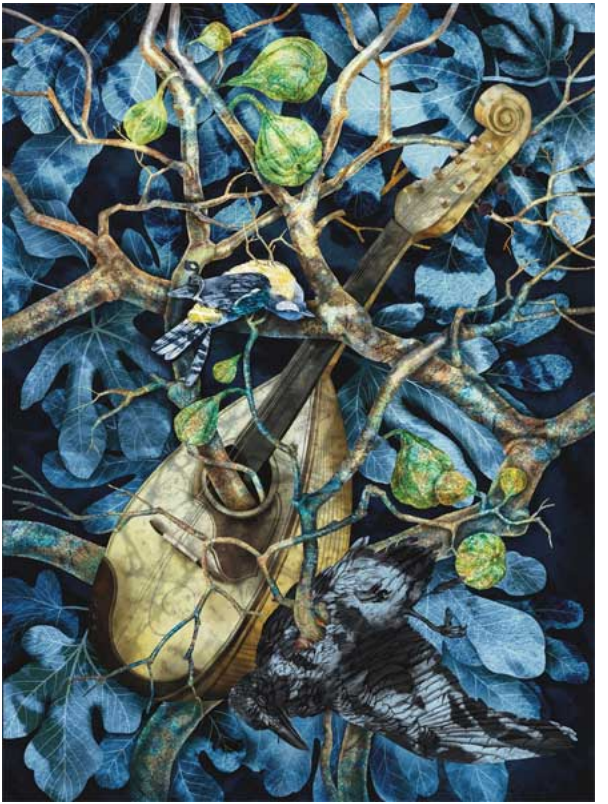
в уединении. Мысль, которую raconteur[20] не сумел выразить ясно — или пожертвовал ясностью французской любви к игре слов, — без сомнения, вполне справедлива в том смысле, что высокая музыка может быть вполне оценена лишь тогда, когда мы слушаем ее одни. С такою мыслью согласится всякий, кто ценит лиру ради нее самой и ее духовного значения. Но есть и еще наслаждение у грешного человечества — быть может, одноединственное, которое еще больше, чем музыка, связано с уединением. Я говорю о наслаждении, которое доставляют картины природы. Поистине, только тот может созерцать славу господню на земле, кто созерцает ее в уединении. Для меня, по крайней мере, присутствие не только человеческой, но и всякой другой жизни — кроме зеленых существ, в безмолвии произрастающих на земле, — представляет пятно на картине, враждебное гению картины. Да, я люблю смотреть на темные долины, на серые скалы, на тихие воды с их безмолвной улыбкой; на леса, вздыхающие в беспокойном сне; на гордые вершины, которые смотрят вниз, подобно часовым на сторожевых постах, — я вижу во всем этом исполинские чле-

---

[20] Примечания: 20
Рассказчик *(фр.).*

ны одного одушевленного и чувствующего целого — того целого, чья форма (форма сферы) наиболее совершенная и всеобъемлющая из всех; чей путь лежит среди дружественных светил; чья кроткая рабыня — луна; чей властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — благо; чья отрада — знание; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об *animalculae*[21], заражающих наш мозг, — почему мы и считаем его, это целое, неодушевленным и грубовещественным, таким же, каким должны считать нас *animalculae.*

[21] Примечания: 21
Микроскопические животные *(лат.).*



Наши телескопы, наши математические исследования убеждают нас вопреки заблуждениям невежественной теологии, что пространство, а

следовательно, и вместимость являются важным соображением в глазах всемогущего. Круги, по которым движутся светила, наиболее приспособлены для движений без столкновения возможно большего числа тел. Формы этих тел именно таковы, чтобы в данном объеме заключать наибольшее количество материи, а поверхности их расположены так, что могут поместить на себе население более многочисленное, чем при всяком другом расположении. Бесконечность пространства не может служить доказательством против той мысли, что вместимость входила в расчеты божества, потому что бесконечное пространство наполнено бесконечной материей. И раз мы видим, что наделение материи жизнью представляет закон — даже насколько мы можем судить об этом, — руководящий закон деятельности бога, — было бы нелогично воображать, что этот закон ограничивается областью мелочных явлений, где мы видим его ежедневно, и не простирается на область величественного. Мы видим круг в кругу без конца, и все они вращаются вокруг отдаленного средоточия, божества; не можем ли мы по подобию предположить жизнь в жизни, меньшую в большей, и все — в духе господнем. Короче сказать, мы безумно

заблуждаемся, предполагая в своем тщеславии, что человек и его судьбы, настоящие и будущие, больше значат во вселенной, чем огромная «глыба праха», которую он обрабатывает и презирает, не признавая за ней души только потому, что не замечает ее проявлений[22].

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям среди гор и лесов, на берегах рек и океана окраску, которую будничный мир не преминет назвать сказочной. Я много раз странствовал среди таких картин, уходил далеко, часто в одиночестве, и наслаждение, которое я испытывал, бродя по глубоким туманным долинам или любуясь отражением неба в светлых водах озера, всегда усиливалось при мысли, что я брожу и любуюсь один. Какой болтливый француз[23] сказал, намекая на известное произведение Циммермана: «La solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une

---

[22] Примечания: 22

Рассуждая о приливах и отливах в трактате «De Situ Orbis», Помпоний Мела говорит: «Мир — огромное животное, или...» и т. д. — *Примеч. авт.*

[23] Примечания: 23

Бальзак, слова которого я точно не помню. — *Примеч. авт.*

belle chose»?[24] Замечание остроумное, но этой необходимости вовсе нет.

[24] Примечания: 24

Уединение хорошая вещь, только необходимо, чтобы был кто-нибудь, кто сказал бы вам, что уединение хорошая вещь *(фр.).*



В одном из таких одиноких блужданий среди гор, нагроможденных друг на друга, и печальных рек, и угрюмых сонных прудов я случайно

наткнулся на речку с островком. Я забрел сюда в июне и бросился на траву под каким-то неизвестным мне благовонным кустарником, чтобы в дремоте любоваться видом. Я чувствовал, что именно так нужно рассматривать его, потому что на нем лежала печать сновидения, чего-то призрачного.

Со всех сторон, кроме западной, где солнце склонялось к закату, возвышались зеленеющие стены леса. Речка, круто завернув в своем течении, тотчас исчезала из виду; казалось, она не выходила из своей темницы и поглощалась на востоке густой зеленой листвой; тогда как с противоположной стороны (так, по крайней мере, представлялось мне, когда я лежал и смотрел вверх) безмолвно и беспрерывно, пышным потоком, струились в долину золотые и багряные волны с вечернего неба.

Почти в самой середине узкой расщелины, открывавшейся моему дремлющему взору, покоился на лоне реки круглый островок, одетый роскошною зеленью.

Берег до того сливался с своим отражением, что оба, казалось, висели в воздухе, и светлые воды так походили на зеркало, что невозможно было сказать, где кончается изумрудный дерн и где

начинается хрустальное царство воды.

Я мог охватить одним взглядом восточную и западную оконечности острова и заметил странную разницу в их внешнем виде. Западный край казался лучезарным гаремом цветущей красоты. Он сиял и рдел, озаренный косыми лучами заходящего солнца, и смеялся своими пышными цветами. Нежная благоуханная травка была усеяна царскими кудрями. Стройные, прямые, тонкие, изящные деревья с светлой зеленью и пестрой, гладкой, блестящей корой напоминали о Востоке своей формой и листвой. На всем лежала печать жизни и радости, и, хотя ни малейшее дыхание ветерка не шевелило недвижного воздуха, все казалось в движении благодаря мотылькам бесчисленным, которых можно было принять за крылатые цветы[25].

Другой, восточный конец острова был погружен в черную тень. Все здесь было проникнуто мрачной, хотя прекрасной и тихой, скорбью. Темные деревья в траурной одежде казались скорбными торжественными призраками, говорившими о безвременной смерти и надгробной печали. Трава имела мрачную окраску кипариса,

[25] Примечания: 25

«Florem putares nare per liquidum aethera» (P. Commire) — «Подумаешь, цветок плавает в жидком эфире» (отец Коммир) (*лат.*).

листья ее уныло поникли, разбросанные там и сям холмики, заросшие рутой и розмарином, казались могилами. Тени деревьев тяжело ложились на воду и исчезали в ней, окутывая мраком ее глубины. Мне грезилось, что каждая тень, по мере того как солнце спускалось все ниже и ниже, угрюмо отделялась от ствола, породившего ее, и поглощалась потоком, а на место ее тотчас же выступала новая.

Эта мысль, зародившись в моем воображении, возбуждала его все сильнее и сильнее, и я предался мечтам. Если был когда-нибудь очарованный остров, думал я, так вот он передо мною. Здесь, в этом уголке, притаились немногие феи, уцелевшие от гибели, постигшей их племя. Не их ли эти зеленые могилы? Не расстаются ли они с своей легкой жизнью так же, как люди с своей? Или они разрушаются постепенно, возвращая богу свое существование, капля за каплей, как эти деревья отдают воде тень за тенью, истощая мало-помалу свое существование? Между жизнью феи и смертью, которая поглощает жизнь, не такая ли же связь, как между разрушающимся деревом и водой, которая всасывает тени его, становясь от них все чернее и чернее?

Пока я мечтал с полузакрытыми глазами, а

солнце быстро спускалось и крутящиеся струи вились вокруг острова, нанося на его грудь снежно-белые хлопья коры сикомор, в которых живое воображение могло бы увидеть все, что ему померещится; пока я мечтал, мне показалось, что одна из тех самых фей, о которых я думал, появилась на западной оконечности острова, медленно двигаясь из света в тьму. Она стояла в странном зыбком челноке, двигая его тенью весла. Пока ее озаряли лучи угасающего солнца, она казалась веселой, но грусть овладевала ею по мере того, как она погружалась в тьму. Она тихонько скользила по воде и, наконец, обогнула остров и снова появилась на освещенной стороне. Круг, который только что свершила фея, думал я, годовой круг ее скоротечной жизни. Она пережила зиму и лето. Она годом ближе к смерти; я видел, как тень ее отделилась от нее, когда она вступила в темноту, отделилась и исчезла, поглощенная черными водами, которые стали еще чернее.

Снова появился челнок и фея, но на этот раз ее поза обнаруживала больше тревоги и беспокойства и меньше беспечной радости. Снова вступила она из света в тьму (которая сгущалась с минуты на минуту), и снова тень ее отделилась и исчезла в черном лоне вод. И каждый раз, как фея

огибала остров (между тем как солнце уходило на покой) и появлялась у освещенного берега, лицо ее становилось все грустнее, все бледнее и призрачнее, и каждый раз, когда она вступала в тьму, тень ее отделялась и исчезала в черных водах. И наконец, когда солнце исчезло, фея — призрак прежней феи! — в последний раз погрузилась в черную тьму; и вышла ли когда-нибудь — не знаю, потому что все оделось мраком, а я не видел более ее волшебного лица.

Падение дома Эшер

Son coeur est un luth suspendu
Sitôt qu'on le touche il resonne
DE BERANGER[26][27]

Перевод Михаила Энгельгардта

Весь тот день, серый, темный, тихий осенний день — под низко нависшими свинцовыми тучами, — я ехал верхом по необычайно пустынной местности и, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю: невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным чувством поэзии, которое вызывают в душе человеческой даже самые безнадежные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу — на одинокий дом, на мрачные стены, на зияющие впадины выбитых окон, на чахлую осоку, на седые стволы дряхлых

[26] Примечания: 26
Его сердце — висящая лютня,
Лишь дотронуться — она зазвучит *(фр.)* (Беранже).

[27] Примечания: 27
Пьер Жан де Беранже — французский поэт и автор песен XVIII–XIX в.

деревьев — с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, полное бессилие воображения настроить душу на более возвышенный лад. Что же именно, подумал я, что именно так удручает меня в «Доме Эшера»? Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом, но исследовать это влияние — задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит это впечатление гнетущее. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидав в повторенном и обратном изображении чахлую

осоку, седые стволы деревьев, пустые впадины окон.

Тем не менее я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное — настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавшем его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно казалось мне все-таки странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моем друге очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времен отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих веков в различных произведениях искусства, всегда

носивших отпечаток восторженности, а позднее — в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия при всей своей древности не породила ни одной боковой ветви, сколько-нибудь живучей; иными словами, что все члены рода, за весьма немногими и кратковременными уклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы заменилось странным и двусмысленным прозвищем «Эшерова дома», под которым местное население подразумевало как самих владельцев, так и их родовую собственность.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка изменить настроение, заглянув в пруд, только усилила тяжесть первого впечатления. Не сомне-

ваюсь, что сознание своего суеверия — почему мне не употребить этого слова? — усиливало его действие. Таков — я давно убедился в этом — противоречивый закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса.

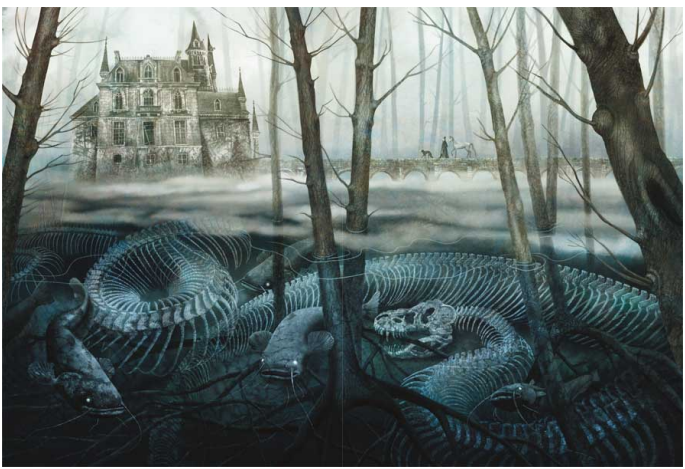
Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, явившаяся у меня, когда я перевел взгляд от отражения в пруду к самой усадьбе, — фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не показывала силу осаждавших меня впечатлений. Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особенным, им только присущим воздухом, совсем не похожим на окружающий вольный воздух, — воздухом, исходящим от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда — тяжким, сонным, зараженным — и таинственным.

Стряхнув с души впечатление, которое должно было быть бредом, я стал рассматривать дом. Главная особенная черта его была глубокая древность. Века наложили на него печать неизгладимую. Лишаи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обва-

лилась, но тем более поражало несоответствие общей, сохранившейся во всех частях постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает внешний воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на переднем фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая в мутных водах пруда.

Заметив все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в приемную. Отсюда лакей неслышными шагами провел меня по темным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы — резьба на потолках, темные обои на стенах, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, — были мне знакомы с детства, хотя я сразу узнал все это, но странно: эти знакомые предметы возбуждали

во мне ощущения совершенно незнакомые. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он торопливо поздоровался со мной и прошел мимо. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приходе.



Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна помещались на такой высоте от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетчатые окна, так что большие предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и сводчатого расписного потолка. Темные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Воздух напоен был тоскою. Унылая, бесконечная, безнадежная, висела она над всеми, пронизывала все.

Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной. Но, взглянув на него, я убедился в ее искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном существе друга моих детских игр. А между тем наружность его была замечательна. Трупный цвет кожи, огром-

ные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; тонкие, бледные, но удивительно красиво очерченные губы; изящный еврейский нос, однако с чересчур широкими ноздрями; красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся (признак душевной слабости); волосы мягкие, тонкие-тонкие, паутинные; лоб, необычайно широкий в висках, — такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступили еще резче, но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность лица его и волшебный блеск его глаз. Паутина волос, очевидно давно уже не знавшая ножниц, обрамляя лицо почти воздушными прядями, тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность, невыдержанность, следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему,

что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезали) сменялась звуком стремительной уверенности, отрывистым, резким, не терпящим возражений, грубоватым звуком, тем веским, мерным, горловым говором, какой бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный семейный недуг, против которого, кажется, нет лекарства… чисто нервное расстройство, прибавил он поспешно, которое, вероятно, пройдет само собою. Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, при этом действовали звуки голоса и слова рассказа. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, принимал только самую безвкусную пищу, носил только известные ткани, не терпел запаха

цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и только немногие звуки, исключительно струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что он подвержен беспричинному неестественному страху.

— Я погибну, — говорил он, — я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, потому что они могут повлиять на это возбуждение невыносимое. Боюсь не столько самой опасности, сколько ее неизбежного следствия — ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком — *страхом!*

Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную черту болезненного душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его неясных слов.

Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы мало-помалу в течение долгих лет

приобрели странную власть над его душою: вещи чисто физические — серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, — влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. После смерти ее, заметил он с горечью, которая произвела на меня впечатление неизгладимое, я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшер. Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали сестру его) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на нее с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило меня, пока я следил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые блестели слезы.



Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хотя кратковременные, явления ката-

лептического характера — таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним, ни за что не хотела лечь в постель; но вечером после моего приезда слегла (ее брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью), так что я, по всей вероятности, видел ее в последний раз.

В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась для меня безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, бросавший мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные мною наедине с хозяином Эшерова дома. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о наших занятиях. Необузданный идеализм Эшера озарял все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные импровизации врезались мне в душу. Помню, между прочим, болезненную, странную вариацию на дикий мотив последнего вальса Вебера.

Живопись, создаваемая его изысканным воображением, в которой с каждой чертой выступало что-то смутное, заставлявшее меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления, — эти картины (хотя я точно вижу их перед собою) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если когда-нибудь человек живописал мысль, то этот человек был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере при обстоятельствах, в которых я находился, чистые отвлеченности, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фиезели.

Одно из сказочных созданий моего друга, не такое отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или подземного хода, с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые подробности рисунка ясно показывали, что ход был на огромной глубине

под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода; не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей затоплял все зловещим неестественным светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастическое свойство его импровизаций. Но *легкость* его *impromptus* не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, следствием самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эту песнь если не вполне, то

почти точно.

I

В зеленой долине, жилище светлых ангелов, возвышался когда-то прекрасный, гордый, лучезарный замок. Там стоял он во владениях властелина Мысли! Никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием.

II

Пышные златотканые знамена развевались на кровле его (все это было — все это было в старые, давно минувшие годы); ветерок, порхая по стенам дворца, уносился, напоенный благоуханием.

III

Путник, проходя счастливой долиной, видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг пре стола, на котором восседал в блеске славы своей порфирородный властитель.

IV

Жемчугами и рубинами горели пышные двери, из них вылетали, кружась и сверкая, толпы Эхо, воспевавшие голосами невыразимо сладостными мудрость своего повелителя.

V

Но злые призраки в черных одеждах осадили дворец великого царя (ах, пожалеем о нем: солнце уже никогда не взойдет для него, безнадежного!), и ныне царственная слава дома его — только сказание древности полузабытое.

VI

И ныне путник, проходя по долине, видит сквозь озаренные багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии, а из бледных дверей, подобно зловещему потоку, вылетают толпы отвратительных чудовищ и смеются, но никогда не улыбаются.

* * *

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны (многие высказывали то же самое[28]), а потому, что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало

---

[28] Примечания: 28

Ватсон, д-р Перенваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. *См.* «Chemycal essays», vol. V. — *Примеч. авт.*

этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое.

Не знаю, какими словами выразить степень или *размах* его убеждения. Оно имело связь (как я уже намекал) с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней: в порядке их сочетания, в изобильных *мхах*, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, — а главное, в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удвоялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенный воздух (я невольно вздрогнул при этих словах), сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и *на него самого,* так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вер-Вер» и «Шартрезу» Грессе, «Бельфегора» Макиавелли, «Небо и Ад»

Сведенборга, «Подземное путешествие Николая Климма» Гольберга, Хиромантии Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ, Делантамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика, «Город Солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку, издание «Directorium Inquisitorum» доминиканца Эймерика де-Жиронна и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам.

Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви — *Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae*[29].

Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в один из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его

---

[29] Примечания: 29

Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви *(лат.). — Примеч. ред.*

побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе), был маленький сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.

Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата

и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

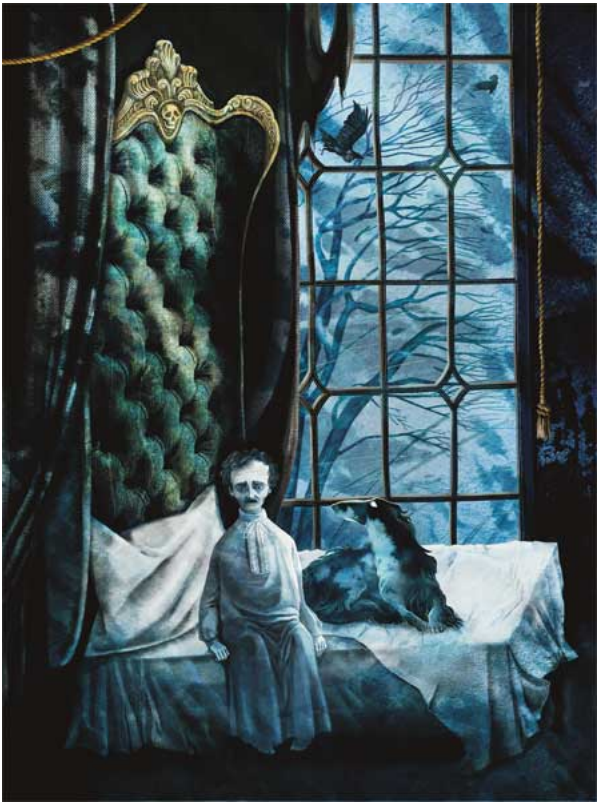
Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными, торопливыми, нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки; в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то

гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне медленно, но неотразимо.

На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.

Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение. Старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки: темных ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к

тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным, ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придется спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам.



Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь

и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его — очевидно, он был в припадке *истерии.* Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что далее обрадовался его приходу.

— А вы еще не видали *этого?* — сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания. — Не видали? Так вот посмотрите.

С этими словами он поставил лампу в сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе: ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Но с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся га-

зообразные испарения, окутывавшие постройку.

— Вы не должны, вы не будете смотреть на это, — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. — Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, и так мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была «Mad Trist» сэра Ланчелота Каннинга, но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку — ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что

его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу».

Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный,

покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит;

Дракона кто убьет, получит славный щит.

Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове, так что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».

Тут я снова остановился — на этот раз с чувством ужаса и изумления, — так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении) слабый, отдаленный, нерезкий, протяжный, визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали

изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном»

Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, точно и впрямь в эту самую

минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему — и понял наконец его безумную речь.

— Не слышу?.. Да, я слышу… я *слышал.* Долго… долго… долго… много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел, — о, горе мне, несчастному!.. Не смел… не смел сказать! *Мы похоронили ее живою!* Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? *Теперь* говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… *не смел сказать.* А теперь… сейчас… Этельред… Ха, ха!.. Треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита!.. Скажите лучше — треск гроба, визг железной двери… И судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится

сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец! — Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком: — *Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями!*

И, как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра — но в дверях *стояла* высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.



Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной

мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий, черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развали нами «Дома Эшера».

Морэлла

Αυτο χαθ' αυτο μεθ' αυτου μονο ειδες αιει ον.[30]

PLATO

Перевод Михаила Энгельгардта

С чувством глубокой, но странной нежности смотрел я на мою подругу Морэллу. Когда случай свел нас несколько лет тому назад, душа моя, с первой же встречи нашей, загорелась огнем, которого никогда раньше не знала; но это не был огонь Эроса и я с горьким, мучительным чувством убедился, что не могу определить его странную сущность, его смутный пыл. Но мы встретились, и судьба связала нас перед алтарем, и я никогда не говорил о страсти, не думал о любви. Как бы то ни было, она избегала общества и, привязавшись ко мне одному, доставила мне счастье. Разве не счастье — удивляться, разве не счастье — мечтать?

Морэлла обладала глубокими познаниями.

---

[30] Примечания: 30

Сам, самим собою только, вечно один и единственный *(греч.)* (Платон «Пир»).

Дарования ее были не заурядного свойства, — силы ума колоссальные. Я чувствовал это и во многих отношениях сделался ее учеником. Вскоре, однако, может быть, под влиянием своего пресбургского воспитания, она заставила меня углубиться в мистические произведения, которые считаются обыкновенно мусором ранней германской литературы. По непонятной для меня причине они были любимым и постоянным предметом ее занятий, — которые с течением времени сделались и моими, просто в силу привычки и примера.

Если не ошибаюсь, мой рассудок не играл при этом самостоятельной роли. Или я мало себя знаю, — или мои воззрения вовсе не идеалистического характера и никаких следов мистицизма нельзя заметить в моих поступках и мыслях. Убежденный в этом, я отдался руководству жены, и решительно вступил в круг ее запутанных занятий. И тогда — когда, вчитываясь в запретные страницы, я чувствовал, что запретный дух загорается во мне — она брала мою руку своей холодной рукой и выискивала в пепле мертвой философии несколько тихих странных слов, необычайный смысл которых огненными буквами запечатлевался в моем мозгу. И по целым

часам я сидел подле нее, прислушиваясь в музыке ее голоса, пока, наконец, его мелодия не окрашивалась ужасом, и тень ложилась на мою душу, и я дрожал, прислушиваясь к его слишком не земным звукам. И таким-то образом радость превращалась в страх и прекраснейшее становилось гнуснейшим, как Гинном сделался Геенной.

Бесполезно передавать точное содержание тех вопросов, которые, под влиянием упомянутых книг, сделались со временем единственной темой наших бесед с Морэллой. Для людей, знакомых с тем, что может быть названо теологической моралью, они и так понятны, а незнакомые с нею все равно ничего не поймут. Дикий Пантеизм Фихте, измененная Παλιγγενεσια пифагорейцев, а в особенности *доктрина* Тождества, развитая Шеллингом — вот темы, больше всего увлекавшие фантазию Морэллы. Мне кажется, Локк правильно определяет так называемое индивидуальное тождество, говоря, что оно заключается в постоянно одинаковой сущности индивидуального разума. Мы называем личностью мыслящее существо, одаренное разумом и сознанием, которое всегда сопровождает мышление и делает нас нами самими, отличая от других мыслящих существ и доставляя нам индивидуальное тож-

дество. Но principium individuationis, понятие о тождестве, *которое со смертью остается или исчезает навеки,* всегда представляло для меня особый интерес; не столько по связанным с этим понятием выводам, сколько по страстному отношению к ним Морэллы.

Но наступило время, когда таинственность моей жены стала угнетать меня, как колдовство. Я не мог выносить прикосновения ее бледных пальцев, грудных звуков ее музыкального голоса, блеска ее печальных глаз. Она знала об этом, но не возмущалась; по-видимому, она снисходила к моей слабости или безумию и, улыбаясь, говорила, что таков рок. Кажется, она знала также о причине моей перемены, — причине, неизвестной мне самому, но ни разу не намекнула на нее. Но она была женщина и увядала с каждым днем. Красные пятна появились на ее щеках, голубые жилы вздулись на белом лбу. Бывали минуты, когда мое сердце разрывалось от жалости, но стоило мне взглянуть в ее глубокие глаза, и душа моя омрачалась, и я испытывал головокружение, как тот, кто стоит на краю бездонной пропасти.

Нужно ли говорить, что я со страстным нетерпением ожидал смерти Морэллы. Я ожидал, но хрупкий дух цеплялся за свою бренную оболочку

много дней, много недель, много томительных месяцев, так что мои измученные нервы одержали, наконец, верх над рассудком, и я бесился на эту отсрочку, и полный адской злобы проклинал дни, часы и горькие минуты, которые, по-видимому, удлинялись, по мере того, как угасала ее нежная жизнь, — точно тени умирающего дня.



Но в один осенний вечер, когда ветры покоятся в небесах, Морэлла подозвала меня к своей постели. Серый туман клубился над землей, воды

сияли теплым блеском, а роскошная октябрьская листва в лесу отливала цветами радуги, упавшей с неба.

— Наступил день дней, — сказала она, когда я подошел к ней, — день всех дней для жизни и для смерти. Чудный день для сынов земли и жизни, — и еще более чудный для сынов неба и смерти!

Я поцеловал ее в лоб.

— Я умираю, — продолжала она, — но я буду жить.

— Морэлла!

— Не было дня, когда ты мог бы любить меня, — но ту, которую ты ненавидел при жизни, ты будешь обожать после смерти.

— Морэлла!

— Говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог привязанности — о, какой слабой! — которую ты питал ко мне, Морэлле. И когда мой дух отлетит, — будет жить ребенок, твой ребенок, и мой, Морэллы. Но дни твои будут днями скорби, — скорби, которая долговечнее всех ощущений, как кипарис долговечнее всех деревьев. Ибо дни твоего счастья миновали: а радость не повторяется в жизни дважды, как розы Пестума не расцветают дважды в год. Ты не будешь наслаждаться жиз-

нью, — но, забыв о миртах и виноградных лозах, будешь всюду влачить с собою свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морэлла! — воскликнул я, — Морэлла, как можешь ты знать об этом? — но она отвернулась, легкая дрожь пробежала по ее членам, — и она умерла, и я не слыхал более ее голоса.

Но, как и предсказала Морэлла, ребенок, которому она в смерти дала рождение, — который начал дышать лишь только она испустила последнее дыхание — ребенок, дочь, осталась в живых. И странно развивалась она духом и телом — вылитый портрет своей матери — и я любил ее такой пламенной любовью, какой, казалось мне, нельзя любить кого бы то ни было из граждан земли.

Но лазурь этой чистой привязанности скоро омрачилась, и уныние, страх, скорбь заволокли ее черной тучей. Я сказал, что ребенок странно развивался духом и телом. Да, поразителен был быстрый рост ее тела, но ужасен — о, ужасен! — был шумный рой мыслей, осаждавших меня, когда я следил за ее духовным развитием! Могло ли быть иначе, когда я ежедневно открывал в идеях ребенка силу и зрелость ума взрослой женщины? Когда уроки житейской опытности

раздавались из уст младенца? Когда мудрость или страсти зрелого возраста ежечасно светились в ее больших, задумчивых глазах? Когда все это стало очевидным для моих встревоженных чувств, когда я не мог более утаить от самого себя или заглушить впечатлений, от которых меня бросало в дрожь, — мудрено ли, что тогда страшные, смутные подозрения закрались мне в душу, и мысли мои с ужасом обратились к странным рассказам и поразительным теориям покойной Морэллы? Я укрыл от людских глаз существо, которое волею судеб был вынужден обожать, — и в тиши моего дома с мучительным беспокойством следил за всем, что касалось этого возлюбленного существа.

И по мере того как уходили годы, а я день за днем смотрел на ее небесное, кроткое, выразительное лицо, на ее созревающие формы — мне день за днем открывались в ней новые и новые черты сходства с матерью, с печалью и смертью. С каждым часом сгущались эти тени сходства, становясь все более законченными, более резкими, более зловещими. Не то меня смущало, что ее улыбка напоминала улыбку матери, — пугало меня их полное *тождество.* И пусть бы глаза ее походили на глаза Морэллы, — но их взгляд

слишком часто проникал в глубину моей души, с особенным, странным, напряженным, смущающим выражением глаз Морэллы. И в контурах высокого лба, и в локонах шелковистых кудрей, и в бледных пальцах, которые расправляли их, и в грустной музыке речей, и главное — о, главное! — в выражениях и фразах умершей на устах любимой и живущей, — я находил пищу для пожирающего беспокойства и ужаса, для червя, который не *хотел* умирать.

Так прошли два пятилетия ее жизни, — а моя дочь все еще не носила имени на земле. «Дитя мое» и «радость моя» — вот названия, внушенные нежностью отца, а других людей она не встречала в своем строгом уединении. Имя Морэллы умерло вместе с нею. Я никогда не говорил с дочерью о матери: это было невозможно. Так, в течение короткого периода своего существования, она не получала никаких впечатлений из внешнего мира, кроме тех, которые обусловливались тесным кругом ее жизни. Но в конце концов обряд крещения представился моей измученной и взволнованной душе как выход из ужасов моего существования. И у купели я колебался, какое имя дать ей. И много имен, означающих мудрость и красоту, имен древних и новых, имен моей

родины и чуждых стран, трепетали на моих губах, — много имен, означающих кротость, добро и счастье. Что же толкнуло меня потревожить память покойницы? Какой демон вырвал у меня из уст звуки, при воспоминании о которых вся моя кровь приливала к сердцу? Какой адский дух говорил в тайниках моей души, когда в тусклом полусвете, в безмолвии ночи я шепнул святому человеку имя — Морэлла? Какой более чем адский дух исказил судорогой черты моего дитяти и покрыл их смертною тенью, когда, вздрогнув при этом едва слышном звуке, она обратила свои блестящие глаза к небу и, падая на черные плиты нашего фамильного склепа, отвечала: «Я здесь!»

Ясно, с холодной, спокойной отчетливостью прозвучали эти слова в моих ушах, и как растопленный свинец, шипя, проникли в мой мозг. Годы, годы пройдут, но воспоминание об этой эпохе — никогда! И хоть не чуждался я цветов и виноградной лозы, но цикута и кипарис осеняли меня днем и ночью. И потерял я сознание времени и места, и звезды моей судьбы скатились с неба, и земля оделась тьмою, и ее образы проходили мимо меня, как тени, и среди них я видел одну — Морэллу. Но она умерла; и своими руками зарыл я ее в могилу; и смеялся долгим и горьким

смехом, не находя следов первой в том склепе, где похоронил я вторую — Морэллу.

Лигейя

И если кто не умирает, это от могущества воли.
Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества?
Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью.
И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля.
ДЖОЗЕФ ГЛЕНВИЛЛ[31]

Перевод Константина Бальмонта

Клянусь, я не могу припомнить, как, когда или даже в точности где я узнал впервые леди Лигейю. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от множества страданий. Или, быть может, я не в силах припомнить этого *теперь*, потому что на самом деле необыкновенные качества моей возлюбленной, ее исключительные знания, особенный и такой мирный оттенок ее красоты

---

[31] Примечания: 31

Гленвилл Джозеф — английский писатель, философ, церковный деятель XVII в.

и полное чар, захватывающее красноречие ее мелодичного грудного голоса прокрадывались в мое сердце так незаметно, с таким постепенным упорством, что я и не заметил этого, не узнал. Да, но все же мне чудится, что я встретил ее впервые и встречал много раз потом в каком-то обширном старинном городе, умирающем на берегах Рейна. Она, конечно, говорила мне о своем происхождении. Что ее род был очень древним, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Лигейя! Лигейя! Погруженный в такие занятия, которые более, чем что-либо иное, могут по своей природе убить впечатления внешнего мира, я чувствую, как одного этого нежного слова, Лигейя, достаточно, чтобы предо мною явственно предстал образ той, кого уже больше нет. И теперь, пока я пишу, во мне вспыхивает воспоминание, что я *никогда не знал* фамильного имени той, которая была моим другом и невестой и сделалась потом товарищем моих занятий и, наконец, супругой моего сердца. Было ли это прихотливым желанием моей Лигейи? Или то было доказательством силы моего чувства, что я никогда не предпринимал никаких исследований по этому поводу? Или, скорее, не было ли это моим собственным капризом, моим романтическим жертвоприношением на

алтарь самого страстного преклонения? Я только неясно помню самый факт, — удивительно ли, что я совершенно забыл об обстоятельствах, обусловивших или сопровождавших его? И если действительно тот дух, который назван *Романом,* если эта бледная, туманнокрылая *Ashtophet* языческого Египта председательствовала, как говорят, на свадьбах, сопровождавшихся мрачными предзнаменованиями, нет сомнения, что она председательствовала на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего память моя не ошибается. Это *внешность* Лигейи. Высокого роста, Лигейя была тонкой, в последние дни даже исхудалой. Тщетно было бы пытаться описать величественность, спокойную непринужденность всех ее движений, непостижимую легкость и эластичность ее поступи. Она приходила и уходила точно тень. Никогда я не слыхал, что она входит в мой рабочий кабинет, я только узнавал об этом, когда она касалась моего плеча своею словно выточенной из мрамора рукой, — я с наслажденьем узнавал об этом, слыша нежный звук ее грудного голоса. Ни одна девушка в мире не могла сравняться с нею красотой лица. Это был какой-то лучистый сон, воздушное и душу возвышающее видение, в

котором было больше безумной красоты, больше божественного очарования, чем в тех фантастических снах, что парили над спящими душами Делосских дочерей. Однако черты ее лица не отличались той правильностью, почитать которую в классических созданиях язычников мы научены издавна и напрасно. «Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, справедливо рассуждая о всех разнородных формах и *видах* красоты, — без некоторой *странности* в соразмерности частей». Я видел, что у Лигейи не было классической правильности в чертах, я понимал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что много было «странности», проникавшей ее, и все же я тщетно пытался открыть какую-либо неправильность и подробно проследить мое собственное представление «странного». Я всматривался в очертания высокого и бледного лба — он был безукоризнен; но как бездушно это слово в применении к величавости такой божественной! Белизна кожи, не уступающая чистейшей слоновой кости, пышная широта и безмятежность, легкий выступ над висками; и потом эти роскошные локоны, цвета воронова крыла, с природными завитками, с отливом, вполне оправдывающим

силу гомеровского эпитета «гиацинтовый»! Я смотрел на тонкие очертания носа, и нигде, за исключением изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же чудесная гладкая поверхность, тот же еле заметный выступ, приближающийся к типу орлиного, те же гармонично изогнутые брови, говорящие о свободной душе. Я смотрел на нежный рот. Он был поистине торжеством всего неземного: очаровательная верхняя губа, короткая и приподнятая, сладострастная дремота нижней, ямочки, которые всегда играли, и цвет, который говорил, зубы, отражавшие с блеском удивительным каждый луч благословенного света, падавшего на них и разгоравшегося мирной и ясной улыбкой. Я размышлял о форме подбородка — и здесь также находил грацию широты, нежность и пышность, полноту и духовность эллинскую, дивное очертание, которое бог Аполлон лишь во сне открыл Клеомену, гражданину афинскому. И потом я пристально смотрел в самую глубь больших глаз Лигейи.

Для глаз мы не находим моделей в отдаленной древности. Быть может, именно в глазах моей возлюбленной скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Мне кажется, они

были гораздо больше, чем глаза обыкновенного смертного. Продолговатые, они были длиннее, чем газельи глаза, отличающие племя, что живет в долине Нурджагад. Но только временами — в моменты высшего возбуждения — эта особенность становилась резко заметной в Лигейе. И в подобные моменты ее красота — быть может, это только так казалось моей взволнованной фантазии — была красотою существ, живущих в небесах или по крайней мере вне земли, — красотою легендарных гурий Турции. Цвет зрачков был лучезарно-черным, и прекрасны были эти длинные агатовые ресницы. Брови, несколько изогнутые, были такого же цвета. Однако «странность», которую я находил в глазах, заключалась не в форме, не в цвете, не в блистательности черт, она крылась в *выражении.* О, как это слово лишено значения! За этим звуком, как бы теряющимся в пространстве, скрывается наше непонимание целой бездны одухотворенности. Выражение глаз Лигейи! Как долго, целыми часами я размышлял об этом! В продолжение летних ночей, от зари до зари я старался измерить их глубину! Что скрывалось в зрачках моей возлюбленной? Что-то более глубокое, чем колодец Демокрита! Что это *было?* Я сгорал страстным желанием

найти разгадку. О, эти глаза! Эти большие, эти блестящие, эти божественные сферы! Они стали для меня двумя созвездными близнецами Леды, а я для них — самым набожным из астрологов.



Среди многих непостижимых аномалий, указываемых наукой о духе, нет ни одной настолько поразительной, как тот факт — никогда, кажется,

никем не отмеченный, — что при усилиях воссоздать в памяти что-нибудь давно забытое мы часто находимся *на самом краю* воспоминания, не будучи, однако, в состоянии припомнить. И подобно этому, как часто, отдаваясь упорным размышлениям о глазах Лигейи, я чувствовал, что я близок к полному познанию их выражения — я чувствовал, что вот сейчас я его достигну, — но оно приближалось и, однако же, не было всецело моим — и в конце концов совершенно исчезало! И (как странно, страннее всех странностей!) я находил в самых обыкновенных предметах, меня окружавших, нить аналогии, соединявшую их с этим выражением. Я хочу сказать, что после того, как красота Лигейи вошла в мою душу и осталась там на своем алтаре, я не раз получал от предметов материального мира такое же ощущение, каким всегда наполняли и окружали меня ее большие лучезарные глаза. И, однако же, я не мог определить это чувство, или точно проследить его, или даже всегда иметь о нем ясное представление. Повторяю, я иногда вновь испытывал его, видя быстро растущую виноградную лозу, смотря на ночную бабочку, на мотылька, на куколку, на поспешные струи проточных вод. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал

его во взглядах некоторых людей, находившихся в глубокой старости. И есть одна или две звезды на небе (в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и изменчивая, находящаяся близ большой звезды в созвездии Лиры), при созерцании ее через телескоп я испытывал это ощущение. Оно охватывало меня, когда я слышал известное сочетание звуков, исходящих от струнных инструментов, и нередко когда я прочитывал в книгах ту или иную страницу. Среди других бесчисленных примеров я хорошо помню один отрывок из Джозефа Глэнвилла, который (быть может, по своей причудливости — кто скажет?) каждый раз при чтении давал мне это ощущение: «И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля».

Долгие годы и последовательные размышления дали мне возможность установить некоторую отдаленную связь между этим отрывком из английского моралиста и известной чертой в характере Лигейи. Своеобразная *напряженность* в мыслях, в поступках, в словах являлась у нее,

быть может, результатом или, во всяком случае, показателем той гигантской воли, которая за время наших долгих и тесных отношений могла бы дать и другое, более непосредственное указание на себя. Из всех женщин, которых я когда-либо знал, Лигейя, на вид всегда невозмутимая и ясная, была терзаема самыми дикими коршунами неудержимой страсти. И эту страсть я мог измерить только благодаря чрезмерной расширенности ее глаз, которые пугали меня и приводили в восторг, благодаря магической мелодичности, ясности и звучности ее грудного голоса, отличавшегося чудесными модуляциями, и благодаря дикой энергии ее зачарованных слов, которая удваивалась контрастом ее манеры говорить.

Я упоминал о познаниях Лигейи, действительно они были громадны — такой учености я никогда не видал в женщине. Она глубоко проникла в классические языки, и, насколько мои собственные знания простирались на языки современной Европы, я никогда не видал у нее пробелов. Да и вообще видел ли я *когда-нибудь*, чтоб у Лигейи был пробел в той или иной отрасли академической учености, наиболее уважаемой за свою наибольшую запутанность?

Как глубоко, как странно поразила меня эта единственная черта в натуре моей жены, как приковала она мое внимание именно за этот последний период! Я сказал, что никогда не видел такой учености ни у одной женщины, но существует ли вообще где-нибудь человек, который последовательно и успешно охватил бы *всю* широкую сферу морального, физического и математического знания. Я не видал раньше того, что теперь вижу ясно, не замечал, что Лигейя обладала познаниями гигантскими, изумительными; все же я слишком хорошо чувствовал ее бесконечное превосходство сравнительно со мной и с доверчивостью ребенка отдался ее руководству и шел за ней через хаос метафизических исследований, которыми я с жаром занимался в первые годы нашего супружества. С каким великим торжеством, с каким живым восторгом, с какой идеальной воздушностью надежды я *чувствовал*, что моя Лигейя склонялась надо мною в то время, как я был погружен в области знания столь мало отыскиваемого — еще менее известного, — и предо мною постепенно раскрывались чудесные перспективы, пышные и совершенно непочатые, и, идя по этому девственному пути, я должен был наконец достичь своей цели, прийти к мудрости,

которая слишком божественна и слишком драгоценна, чтобы не быть запретной!

Сколько же было скорби в моем сердце, когда, по истечении нескольких лет, я увидал, что мои глубоко обоснованные надежды вспорхнули, как птицы, и улетели прочь! Без Лигейи я был беспомощным ребенком, который в ночном мраке ощупью отыскивает свою дорогу и не находит. Лишь ее присутствие, движения ее ума могли осветить для меня живым светом тайны трансцендентальности, в которые мы были погружены; не озаренная лучистым сиянием ее глаз, вся эта книжная мудрость, только что бывшая воздушно-золотой, делалась тяжелее, чем мрачный свинец. Эти чудесные глаза блистали все реже и реже над страницами, наполнявшими меня напряженными размышлениями. Лигейя заболела. Ее безумные глаза горели сияньем слишком лучезарным; бледные пальцы, окрасившись краской смерти, сделались прозрачно-восковыми; и голубые жилки обрисовывались на белизне ее высокого лба, то возвышаясь, то опускаясь, при каждой самой слабой перемене ее чувств. Я видел, что ей суждено умереть, и в мыслях отчаянно боролся с свирепым Азраилом. К моему изумлению, жена моя, объятая страстью,

боролась с еще большей энергией. В ее суровой натуре было много такого, что заставляло меня думать, что к ней смерть должна была прийти без обычной свиты своих ужасов, но в действительности было не так. Слова бессильны дать хотя бы приблизительное представление о том страстном упорстве, которое она выказала в своей борьбе с Тенью. Я стонал в тоске при виде этого плачевного зрелища. Мне хотелось бы ее утешить, мне хотелось бы ее уговорить; но при напряженности ее безумного желания жить — жить, *только бы* жить — всякие утешения и рассуждения одинаково были верхом безумия. Однако же до самого последнего мгновения, среди судорожных пыток, терзавших ее гордый дух, ясность всех ее ощущений и мыслей внешним образом оставалась неизменной. Ее голос делался все глубже, все нежнее и как будто отдаленнее, но я не смел пытаться проникнуть в загадочный смысл ее слов, которые она произносила так спокойно. Зачарованный каким-то исступленным восторгом, я слушал эту сверхчеловеческую мелодию — и мой ум жадно устремлялся к надеждам и представлениям, которых ни один из смертных доныне не знал никогда.

Что она меня любила, в этом я не мог сомне-

ваться; и мне легко было понять, что в ее сердце любовь должна была царить не так, как царит заурядная страсть. Но только в смерти она показала вполне всю силу своего чувства. Долгие часы, держа мою руку в своей, она изливала предо мною полноту своего сердца, и эта преданность, более чем страстная, возрастала до обожания. Чем заслужил я блаженство слышать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в тот самый миг, когда она делала мне такие признания? Но я не в силах останавливаться на этом подробно. Я скажу только, что в этой любви, которой Лигейя отдалась больше, чем может отдаться женщина, в любви, которая, увы, была незаслуженной, дарованной совершенно недостойному, я увидал, наконец, источник ее пламенного и безумного сожаления о жизни, убегавшей теперь с такою быстротой. Именно это безумное желание, эту неутолимую жажду жить — *только бы* жить — я не в силах изобразить, не в силах найти для этого ни одного слова, способного быть красноречивым.

В глубокую полночь, в ту ночь, когда она умерла, властным голосом подозвав меня к себе, она велела мне повторить стихи, которые сложились у нее в уме за несколько дней перед этим. Я пови-

новался ей. Вот они:

Во тьме безутешной – блистающий праздник,
Огнями волшебный театр озарен!
Сидят серафимы в покровах и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен,
Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят как сон,
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда,
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда, —
И крыльями Кондора веют бесшумно,
С тех крыльев незримо слетает Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесе забвения нет!
Безумцы за Призраком гонятся жадно,

Но Призрак скользит, как блуждающий свет;

Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться

В исходную точку, в святилище бед;

И много Безумия в драме ужасной,

И Грех – в ней завязка, и Счастья в ней нет!

Но что это там? Между гаэров пестрых

Какая-то красная форма ползет

Оттуда, где сцена окутана мраком!

То червь, – скоморохам он гибель несет.

Он корчится! Корчится! Гнусною пастью

Испуганных гаэров алчно грызет,

И ангелы стонут, и червь искаженный

Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухло – потухло – померкло сиянье!

Над каждой фигурой, дрожащей, немой,

Как саван зловещий, крутится завеса,

И падает вниз, как порыв грозовой.

И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,

Они утверждают, объятые тьмой,

Что эта трагедия Жизнью зовется,

Что Червь-Победитель – той драмы герой!



«О Боже мой, — почти вскрикнула Лигейя, быстро вставая и судорожно простирая руки вверх. — О Боже мой, о Небесный Отец мой! Неужели все

это неизбежно? Неужели этот победитель не будет когда-нибудь побежден? Неужели мы не часть и не частица существа Твоего? Кто… кто знает тайны воли и ее могущества? Человек не уступил бы и ангелам, *даже и перед смертью не склонился бы,* если б не была у него слабая воля».

И потом, как бы истощенная этой вспышкой, она бессильно опустила свои бледные руки и торжественно вернулась на свое смертное ложе. И когда замирали ее последние вздохи, на губах ее затрепетал неясный шепот. Я приник к ней и опять услыхал заключительные слова отрывка из Гленвилла: *«И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля!»*

Она умерла, и, пригнетенный до самого праха тяжестью скорби, я не мог больше выносить пустынного уединения моего дома в этом туманном городе, умирающем на берегах Рейна. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем это выпадает на долю обыкновенных смертных. И вот после нескольких месяцев утомительного и бесцельного скитанья я купил и частию привел в порядок полуразрушенное аббатство — не буду его называть — в одной из

самых диких и наименее людных местностей живописной Англии. Мрачная и угрюмая величественность здания, почти дикий характер поместья, грустные и освященные временем воспоминания, связанные с тем и с другим, имели в себе много чего-то, что гармонировало с чувством крайней бесприютности, забросившей меня в эту отдаленную и безлюдную местность. Оставив почти неизменным внешний вид аббатства, эти руины, поросшие зеленью, которая свешивалась гирляндами, внутри здания я дал простор более чем царственной роскоши, руководясь какой-то ребяческой извращенностью, а быть может, и слабой надеждой рассеять мои печали. Еще в детстве у меня была большая склонность к таким фантазиям, и теперь они снова вернулись ко мне, как бы внушенные безумием тоски. Увы, я чувствую, как много начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и фантастических драпировках, в египетской резьбе, исполненной торжественности, в этих странных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах ковров, затканных золотом! Я сделался рабом опиума, и все мои занятия и планы приобрели окраску моих снов. Но я не буду останавливаться подробно на всем этом безумии. Я буду говорить только об

одной комнате — да будет она проклята навеки! — о комнате, куда в момент затемнения моих мыслей я привел от алтаря свою новобрачную — преемницу незабвенной Лигейи, белокурую и голубоглазую леди Ровену-Трэванион-Тримэн.

Нет ни одной архитектурной подробности, нет ни одного украшения в этой свадебной комнате, которых я не видел бы теперь совершенно явственно. Каким образом надменная семья моей новобрачной в своей жажде золота решилась допустить, чтобы эта девушка, дочь, так горячо любимая, перешагнула через порог комнаты, украшенной *таким* убранством? Я сказал, что хорошо помню все подробности обстановки, хотя память моя самым печальным образом теряет воспоминания высокой важности; а в этой фантастической роскоши не было никакой системы, никакой гармонии, на которую воспоминание могло бы опереться. Являясь частью высокой башни аббатства, укрепленного как замок, комната эта представляла из себя пятиугольник и была очень обширна. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — громадное и цельное венецианское стекло, с окраской свинцового цвета, так что лучи солнца или месяца, проходя через него, мертвенно озаряли предметы

внутри. Над верхней частью этого окна распространялась сеть многолетних виноградных ветвей, которые цеплялись за массивные стены башни. Дубовый потолок, смотревший мрачно, был необычайно высок, простирался сводом и тщательно был украшен инкрустациями самыми странными и вычурными, в стиле наполовину готическом, наполовину друидическом. В глубине этого угрюмого свода, в самом центре, висела на единственной цепи, сделанной из продолговатых золотых колец, громадная лампа из того же металла, в форме кадильницы, украшенная сарацинскими узорами и снабженная прихотливыми отверстиями таким образом, что через них, как бы живые, скользили и извивались змеиные отливы разноцветных огней.

В разных местах кругом стояли там и сям оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе, и, кроме того, здесь была постель, брачное ложе в индийском стиле, низкое, украшенное изваяниями из сплошного эбенового дерева, с балдахином, имевшим вид похоронного покрова. В каждом из углов комнаты возвышался гигантский саркофаг из черного гранита, с царских могил Луксора; их древние крышки были украшены незабвенными изображениями. Но

главная фантазия, царившая надо всем, крылась, увы, в обивке этого покоя. Высокие стены, гигантские и даже непропорциональные, сверху донизу были обтянуты массивной тяжелой материей, падавшей широкими складками, — эта материя виднелась и на полу, как ковер, и на оттоманках, как покрышка, и на эбеновой кровати, как балдахин, и на окне, как пышные извивы занавесей, частию закрывавших окно. Материя была богато заткана золотом. На неровных промежутках она вся была испещрена арабескными изображеньями, которые имели приблизительно около фута в диаметре и узорно выделялись агатово-черным цветом. Но эти изображения являлись настоящими арабесками лишь тогда, когда на них смотрели с одного известного пункта. Посредством приема, который теперь очень распространен и следы которого можно найти в самой отдаленной древности, они были сделаны таким образом, что меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они просто представлялись чем-то уродливым, по мере приближения к ним этот характер постепенно исчезал, и мало-помалу посетитель, меняя свое место в комнате, видел себя окруженным бесконечной процессией чудовищных образов, подобных тем, которые ро-

дились в суеверных представлениях Севера, или тем, что возникали в преступных сновидениях монахов. Фантасмагорический эффект в значительной степени увеличивался искусственным введением беспрерывного сильного течения воздуха из-за драпировок, дававшего всему отвратительное и беспокойное оживление.

В таких-то чертогах, в таком брачном покое провел я с леди Тримэн нечестивые часы первого месяца нашего брака, и провел без особенного беспокойства. Что жена моя боялась дикой переменчивости моего характера, что она избегала меня, что она любила меня далеко не пламенной любовью, этого я не мог не видеть, но все это доставляло мне скорее удовольствие, нежели что-либо иное. Я ненавидел ее ненавистью отвращения, более напоминающей демона, чем человека. Мои воспоминания убегали назад (о, с какой силой раскаяния!) к Лигейе, к возлюбленной, к священной, к прекрасной, к погребенной. Я упивался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о благородной воздушности ее ума, о ее страстной, ее полной обожания любви. И вот мой дух вспыхнул и весь возгорелся пламенем сильнейшим, чем огонь ее собственной души. Объятый экстазом снов, навеянных опиумом

(ибо я обыкновенно находился во власти этого зелья), я испытывал желание громко восклицать, произносить ее имя в молчании ночи или днем наполнял звуками дорогого имени тенистые уголки долин, как будто этой дикой энергией, этой торжественной страстью, неутолимой жаждой моей тоски об усопшей я мог возвратить ее к путям, которые она покинула — о, могло ли это быть, что она навеки их покинула — на земле?

В начале второго месяца нашего брака леди Ровена была застигнута внезапной болезнью, и выздоровление шло очень медленно. Лихорадка, снедавшая ее по ночам, была беспокойной; и, находясь в возмущенном состоянии полудремоты, она говорила о звуках и о движениях, которые возникали то здесь, то там в этой комнате, составлявшей часть башни, что я, конечно, мог приписать только расстройству ее фантазии или, быть может, фантасмагорическому влиянию самой комнаты. Но с течением времени она стала выздоравливать, наконец, совсем поправилась. Однако через самый короткий промежуток времени вторичный припадок, еще более сильный, снова уложил ее в постель; и после него ее здоровье, всегда слабое, никак не могло восстановиться. С этого времени болезнь приняла

тревожный характер, и припадки, возобновляясь, становились все более угрожающими, как бы насмехаясь и над знаниями, и над тщательными усилиями врачей. По мере того как увеличивался этот хронический недуг, который, по-видимому, настолько овладел всем ее существом, что, конечно, его невозможно было устранить обычными человеческими средствами, я не мог не заметить подобного же возрастания ее нервной раздражительности и возбужденности, до такой степени, что самые обыкновенные вещи стали внушать ей страх. Она опять начала говорить, и на этот раз более часто и с большим упорством, о звуках — о легких звуках — и о необычайных движениях среди занавесей, о чем она уже говорила раньше.



Однажды ночью, в конце сентября, она с большой настойчивостью и с большим, нежели обыкновенно, волнением старалась обратить

мое внимание на то, что вызывало в ней тревогу. Она только что очнулась от своего беспокойного сна, и я, будучи исполнен наполовину беспокойства, наполовину смутного страха, следил за выражением ее исхудалого лица. Я сидел близ эбеновой кровати, на одной из индийских оттоманок. Больная слегка приподнялась и говорила настойчивым тихим шепотом о звуках, которые она *только что* слышала, но которых я не мог услыхать, о движениях, которые она *только что* видела, но которых я не мог заметить. Ветер бешено бился за обивкой, я хотел объяснить ей (признаюсь, я сам не мог *вполне* этому верить), что это едва различимое дыхание и эти легкие изменения фигур на стенах являлись самым естественным действием обычного течения ветра. Но смертельная бледность, распространившаяся по ее лицу, доказывала мне, что все мои усилия успокоить ее были бесплодны. Она, по-видимому, теряла сознание, а между тем вблизи не было ни одного из слуг, кого бы я мог позвать. Вспомнив, где находился графин с легким вином, которое было прописано ее врачами, я поспешно устремился через комнату, чтобы принести его. Но когда я вступил в полосу света, струившегося от кадильницы, два обстоятельства поразили и

приковали к себе мое внимание. Я почувствовал, как что-то осязательное, хотя и невидимое, прошло, слегка коснувшись всего моего существа; и я увидел, что на золотом ковре, в самой середине пышного сияния, струившегося от кадильницы, находилась тень — слабая, неопределенная тень ангельского вида, — такая, что она как бы являлась тенью тени. Но я был сильно опьянен неумеренной дозой опиума, и не обратил особенного внимания на эти явления, и не сказал о них ни слова Ровене. Отыскав вино, я вернулся на прежнее место, налил полный бокал и поднес его к губам изнемогавшей леди. Ей, однако, сделалось немного лучше, она сама взяла бокал, а я опустился на оттоманку близ нее, не отрывая от нее глаз. И тогда совершенно явственно я услышал легкий шум шагов, ступавших по ковру и близ постели; и в следующее мгновение, когда Ровена подняла бокал к своим губам, я увидел, или, быть может, мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, точно из какого-то незримого источника, находившегося в воздухе этой комнаты, упало три-четыре крупные капли блестящей рубиново-красной жидкости. Если я это видел — Ровена не видала. Без колебаний она выпила вино, и я ни слова не сказал ей об обстоятельстве,

которое в конце концов должно было являться не чем иным, как внушением возбужденного воображения, сделавшегося болезненнодеятельным благодаря страху, который испытывала леди, а также благодаря опиуму и позднему часу.

Не могу, однако, скрыть, что, тотчас после падения рубиновых капель в болезни моей жены произошла быстрая перемена к худшему; так что на третью ночь ее слуги были заняты приготовлением к ее похоронам, а на четвертую я сидел один около ее окутанного в саван тела, в этой фантастической комнате, которая приняла ее как мою новобрачную. Безумные виденья, порожденные опиумом, витали предо мной, подобно теням. Я устремлял беспокойные взоры на саркофаги, находившиеся в углах комнаты, на изменчивые фигуры, украшавшие обивку, и на сплетающиеся переливы разноцветных огней кадильницы. Повинуясь воспоминаниям о подробностях той минувшей ночи, я взглянул на освещенное место пола, которое находилось под сияньем кадильницы, на ту часть ковра, где я видел слабые следы тени. Однако их больше не было; и, вздохнув с облегчением, я обратил свои взоры к бледному и строгому лицу, видневшемуся на постели. И вдруг воспоминания о Лигейе целым роем охватили

меня, и сердце мое снова забилось неудержимо и безумно, опять почувствовав всю несказанную муку, с которой я смотрел тогда на нее, вот так же окутанную саваном. Ночь убывала; а сердце мое все было исполнено горьких мыслей о моей единственной бесконечно любимой возлюбленной, и я продолжал смотреть на тело Ровены.



Было, вероятно, около полуночи, быть может, несколько раньше, быть может, несколько позже, я не следил за временем, как вдруг тихое рыда-

нье, еле слышное, но совершенно явственное, внезапно вывело меня из полудремотного состояния. Я *чувствовал,* что оно исходило от эбенового ложа — от ложа смерти. Я прислушался, охваченный точно агонией суеверного страха, но звук не повторился. Я устремил пристальный взгляд, стараясь открыть какое-нибудь движение в теле, но не мог заметить ни малейшего его следа. Но не может быть, что я ошибся. Я *слышал* этот звук, хотя и слабый, и душа моя пробудилась во мне. Весь охваченный одним желанием, я упорно смотрел на недвижное тело. Долгие минуты прошли, прежде чем случилось что-нибудь, что могло бы разъяснить эту тайну. Наконец, стало очевидно, что слабая, очень слабая, еле заметная краска румянца вспыхнула на щеках Ровены и наполнила маленькие жилки на ее опущенных веках. Я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены мои как бы окаменели, повинуясь чувству неизреченного страха и ужаса, для которого на языке человеческом нет достаточно энергического выражения. Однако сознание долга в конце концов возвратило мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились — что Ровена была еще жива. Нужно было немедленно принять какие-нибудь меры; но

башня была изолирована от той части здания, где жила прислуга, — у меня не было никаких средств обратиться за помощью, не оставляя комнаты, оставить же комнату, хотя бы на несколько мгновений, я не мог решиться. Я начал один, собственными усилиями делать попытки вернуть назад еще трепетавший, еще колебавшийся дух. Между тем через самое непродолжительное время стало очевидно, что произошел возврат видимой смерти; краска угасла на щеках и веках, сменившись бледностью более мертвой, чем белизна мрамора; губы вдвойне исказились ужасной судорогой смерти; вся поверхность тела быстро сделалась холодной и отвратительно скользкой; и тотчас снова появилась обычная полная окоченелость. Весь дрожа, я кинулся к ложу, откуда был так внезапно исторгнут, и снова отдался пламенным снам и мечтаньям о Лигейе.

Таким образом прошел час, и (могло ли это быть?) я снова услыхал какой-то смутный звук, исходивший из того места, где стояло эбеновое ложе. Я стал прислушиваться — в состоянии крайнего ужаса. Звук повторился — это был вздох. Бросившись к телу, я увидел — явственно увидел — трепет на губах. Минуту спустя они слегка раздвинулись, открывая блестящую

линию жемчужных зубов. Крайнее изумление боролось теперь в моей груди с глубоким ужасом, который царствовал в ней раньше безраздельно. Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, что разум мой колеблется; лишь с помощью крайнего усилия мне удалось, наконец, принудить себя к мерам, на которые чувство долга еще раз указало мне. Румянец пятнами выступил теперь на лбу, на щеках и на шее; заметная теплота распространилась по всему телу; было слышно слабое биение сердца. Леди была жива; и с удвоенным жаром я снова принялся за дело воскрешения. Я растирал и согревал виски и руки, принимал все меры, которые были мне внушены опытом, а также и моей немалой начитанностью в медицине. Все тщетно. Краска внезапно исчезла, пульс прекратился, губы приняли мертвенное выражение, и мгновение спустя к телу снова вернулась его ледяная холодность, синеватый оттенок, напряженная окоченелость, омертвелые очертанья, и все те чудовищные особенности, которые показывают, что труп много дней пролежал в гробу.

И снова я отдался виденьям и мечтам о Лигейе — и снова (удивительно ли, что я дрожу, когда пишу это?), снова до слуха моего донеслось тихое рыдание с того места, где стояло эбеновое ложе.

Но зачем я буду подробно описывать неописуемый ужас этой ночи? Зачем я буду рассказывать, как опять и опять, почти вплоть до серого рассвета повторялась эта чудовищная драма оживания; как всякий раз она кончалась страшным возвратом к еще более мрачной и, по-видимому, еще более непобедимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то незримым врагом и как за каждой новой борьбой следовало какое-то странное изменение в выражении трупа? Я хочу скорей кончить.

Страшная ночь почти уже прошла, и та, которая была мертвой, еще раз зашевелилась, и теперь более сильно, чем прежде, хотя она пробуждалась от смерти более страшной и безнадежной, чем каждое из первых умираний. Я уже давно перестал сходить с своего места и предпринимать какие-либо усилия, я неподвижно сидел на оттоманке, беспомощно отдавшись вихрю бешеных ощущений, среди которых крайний ужас являлся, может быть, наименее страшным, наименее уничтожающим. Тело, повторяю, зашевелилось, и теперь более сильно, чем прежде. Жизненные краски возникали на лице с необычайной энергией — члены делались мягкими, — и если бы не веки, которые были плотно сомкнуты, если бы не

повязки и не покров, придававшие погребальный характер лицу, я мог бы подумать, что Ровена действительно совершенно стряхнула с себя оковы смерти. Но если, даже тогда, эта мысль не вполне овладела мной, я, наконец, не мог более в этом сомневаться, когда, поднявшись с ложа, спотыкаясь, слабыми шагами, с закрытыми глазами, имея вид спящего лунатика, существо, окутанное саваном, вышло на середину комнаты.

Я не дрогнул, не двинулся, ибо целое множество несказанных фантазий, связанных с видом, с походкой, с движениями призрака, бешено промчавшись в моем уме, парализовали меня — заставили меня окаменеть. Я не двигался — я только смотрел на привидение. В мыслях моих был безумный беспорядок — неукротимое смятение. Возможно ли, чтобы передо мной стояла *живая* Ровена? Возможно ли, чтобы *это* была Ровена — белокурая голубоглазая леди Ровена-Трэванион-Тримэн? Почему, *почему* стал бы я в этом сомневаться? Повязка тяжело висела вокруг рта — но неужели же это не рот леди Тримэн? И щеки — на них был румянец, как в расцвете ее жизни, — да, конечно, это прекрасные щеки живой леди Тримэн. И подбородок с ямочками, как в те дни, когда она была здорова, неужели это

не ее подбородок? Но что это, *она выросла за свою болезнь?* Что за невыразимое безумие охватило меня при этой мысли? Один прыжок, и я был рядом с ней! Отшатнувшись от моего прикосновения, она уронила с своей головы развязавшийся погребальный покров, и тогда в волнующейся атмосфере комнаты обрисовались ее длинные разметавшиеся волосы; *они были чернее, чем вороновы крылья полночи!* И тогда на этом лице медленно открылись *глаза.* «Так вот они, наконец, — воскликнул я громким голосом, — могу ли я ошибаться — вот они, громадные, и черные, и зачарованные глаза моей утраченной любви… леди… леди Лигейи!»



Колодец и маятник

Impia tortorum longas hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent[32].

Четверостишие, составленное для надписи на воротах рынка, который предполагалось соорудить на месте Якобинского клуба в Париже[33]

Перевод Константина Бальмонта

Я был болен, болен смертельно, благодаря этим долгим невыносимым мукам, и когда, наконец, они сняли с меня оковы и позволили мне сидеть, я почувствовал, что лишаюсь сознания. Приговор, страшный смертный приговор — это были последние слова, которые с полной отчет-

---

[32] Примечания: 32

Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворенная, утоляла здесь долговременную жажду невинной крови. Ныне же при благоденствии отечества, ныне по разрушении пещеры погребения, жизнь и спасение отверсты там, где была зловещая смерть *(лат.).*

[33] Примечания: 33

Цитата из книги Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы» («Curiosities of Literature»), 1791 г.

ливостью достигли моего слуха. Потом звуки инквизиторских голосов как бы слились в один неопределенный гул, раздававшийся точно во сне. Он пробудил в моей душе представление о круговращении, быть может, потому в воображении моем он сочетался с глухим рокотом мельничного колеса.

Это ощущение продолжалось лишь несколько мгновений, и вот я больше не слыхал ничего. Но зато я *видел,* и с какой страшной преувеличенностью! Я видал губы судей, облаченных в черные одеяния. Эти губы показались мне белыми — белее, чем лист бумаги, на котором я сейчас пишу, — и тонкими, тонкими до забавности, в них было напряженное выражение суровости, непреклонной решительности и мрачного презрения к человеческим пыткам. Я видел, что приговор, который был для меня роковым, еще исходил из этих губ. Я видел, как они искажались, произнося смертельные слова. И видел, как они изменялись, выговаривая по слогам мое имя, и меня охватил трепет, потому что звука не было слышно. Опьяненный ужасом, я видел, кроме того, в течение нескольких мгновений, легкие, едва заметные колебания черной обивки, окутывавшей стены зала, и потом мой взгляд был

привлечен семью высокими свечами, стоявшими на столе. Сперва они казались мне милосердными, они представились мне белыми стройными ангелами, которые должны были принести мне спасение: по тотчас же моей душой овладевало чувство смертельного отвращения, и я затрепетал всеми фибрами моего существа, как бы прикоснувшись к проволоке гальванической батареи[34], и ангелы сделались бессмысленными призраками с головами из пламени, и я увидел, что от них мне нечего ждать. И тогда в мое воображение подобно богатой музыкальной ноте прокралась мысль о том, как должно быть сладко отдохнуть в могиле. Эта мысль овладела мною незаметно, и, по-видимому, прошло много времени, прежде чем я вполне оценил ее, но именно тогда, когда дух мой наконец начал должным образом ощущать и лелеять ее, лица судей как по волшебству исчезли передо мной; высокие свечи превратились в ничто; их пламя погасло совершенно; нахлынула черная тьма; все ощущения, как показалось мне, поглощались быстрым бешеным нисхождением, точно душа опускалась

[34] Примечания: 34

Гальваническая батарея — изобретение итальянского физика Луиджи Гальвани, устройство, в котором химическая реакция производит электричество.

в ад. Затем молчание, тишина, и ночи стали моей вселенной.

Я лишился чувств; однако же я не могу сказать, чтобы всякая сознательность была утрачена. Что именно осталось, я не буду пытаться определить, не решусь даже описывать; но не все было утрачено. В самом глубоком сне не все утрачивается! В состоянии бреда — *не все!* В обмороке — не все! В смерти — не все! Даже в могиле *не все* утрачивается! Иначе нет бессмертия для человека. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы порываем тонкую, как паутина, ткань *какого-то* сна. И секунду спустя (настолько, быть может, воздушна была эта ткань) мы уже не помним того, что нам снилось. Когда мы возвращаемся к жизни после обморока, в наших ощущениях есть две степени: во-первых, ощущение умственного или духовного существования; во-вторых, ощущение существования телесного. Весьма вероятно, что если бы, достигнув второй степени, мы могли вызвать в нашей памяти впечатления первой, мы нашли бы эти впечатления красноречиво переполненными воспоминаниями о бездне, находящейся по ту сторону нашего бытия. И эта бездна — что она такое? Каким образом, в конце концов, можем мы отличить ее тени от теней

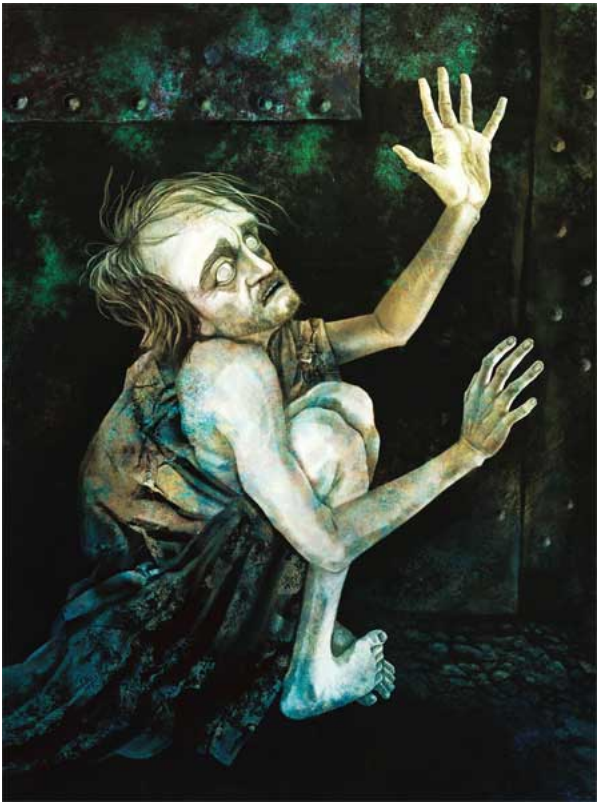
могильных? Но если впечатления того, что я назвал первой степенью, не могут быть воссозданы в памяти произвольно, не приходят ли они к нам после долгого промежутка сами собою, между тем как мы удивляемся, откуда они пришли? Кто никогда не лишался чувств, тот не принадлежит к числу людей, которые видят в пылающих углях странные чертоги и безумно знакомые лица; он не видит, как в воздухе витают печальные видения, которые зримы лишь немногим; он не будет размышлять подолгу об аромате какого-нибудь нового цветка; его ум не будет заворожен особенным значением какого-нибудь музыкального ритма, который раньше никогда не привлекал его внимания.

Среди неоднократных и тщательных попыток вспомнить о том, что было, среди упорных стараний уловить какой-нибудь луч, который озарил бы кажущееся небытие, охватившее мою душу, были мгновенья, когда мне казалось, что попытки мои увенчаются успехом; были краткие, очень краткие, промежутки, когда силой заклинания я вызывал в своей душе воспоминанья, и рассудок мой, бывший трезвым в этот второй период, мог отнести их только к периоду кажущейся бессознательности. Эти неясные тени, выросшие в

моей памяти, заставляют меня смутно припомнить о высоких фигурах, которые подняли меня и молчаливо понесли вниз — все ниже — все ниже, — пока наконец мною не овладело отвратительное головокружение, при одной только мысли о бесконечном нисхождении. Эти неясные тени говорят также о смутном ужасе, охватившем мое сердце, благодаря тому, что это сердце было так неестественно спокойно. Затем следует чувство внезапной неподвижности, оцепеневшей все кругом, как будто бы те призраки, которые несли меня (чудовищный кортеж!), в своем нисхождении вышли за границы безграничного и стали, побежденные трудностью своей задачи. Затем я припоминаю ощущение чего-то плоского и сырого; и после этого все делается *безумием* — безумием памяти, бьющейся в запретном.

Совершенно внезапно в душу мою опять проникли ощущения звука и движения — это бешено билось мое сердце, и слух воспринимал звук его биения. Потом следует промежуток, впечатление которого совершенно стерлось. Потом опять звук, и движение, и прикосновение к чему-то, и ощущение трепета, захватывающее меня всецело. Потом сознание, что я жив, без всякой мысли — состояние, продолжавшееся долго. Потом со-

вершенно внезапно *мысль*, и панический ужас, и самая настойчивая попытка понять, в каком положении я нахожусь. Потом страстное желание ничего не ощущать. Потом быстрое возрождение души и попытка, удавшаяся сделать какое-нибудь движение. И вот у меня встает ясное воспоминание о допросе, о судьях, о черной стенной обивке, о приговоре, о недомогании, об обмороке. Затем полное забвение всего, что было дальше; об этом мне удалось вспомнить позднее, лишь смутно и с помощью самых упорных попыток.



До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, без оков. Я протянул свою руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твер-

дое. В таком положении я держал ее несколько долгих минут, стараясь в то же время понять, где я и *что же* со мною произошло. Мне очень хотелось открыть глаза, но я не смел. Я боялся первого взгляда на окружающие предметы. Не то меня пугало, что я могу увидеть что-нибудь страшное, меня ужасала мысль, что я могу не увидать *ничего.* Наконец с безумным отчаянием в сердце я быстро открыл глаза. Увы! Мои худшие мысли оправдались. Вечная ночь окутывала меня своим мраком. Я почувствовал, что задыхаюсь. Непроницаемость мрака, казалось, давила и удушала меня. Воздух был невыносимо тяжел. Я все еще лежал неподвижно и старался овладеть своим рассудком. Я припоминал приемы, к которым всегда прибегала инквизиция, и исходя отсюда старался вывести заключение относительно моего настоящего положения. Приговор был произнесен, и мне представлялось, что с тех пор прошел очень большой промежуток времени. Однако ни на одно мгновение у меня не появилось мысли, что я действительно мертв. Подобная догадка, несмотря на то что мы читаем об этом в романах, совершенно несовместима с реальным существованием; — но где я был и что было со мной? Приговоренные к смерти, как

я знал, погибали обыкновенно на *auto-da-fe*[35], и один из осужденных был сожжен как раз в ту ночь, когда мне был объявлен приговор. Не был ли я снова брошен в тюрьму для того, чтобы дождаться следующей казни, которая должна была последовать не ранее как через несколько месяцев? Я видел ясно, что этого не могло быть. Жертвы претерпевали немедленную кару. Кроме того, в моей тюрьме, как и везде в Толедо[36] в камерах для осужденных, был каменный пол, и в свете не было совершенно отказано.

Страшная мысль внезапно охватила меня, кровь отхлынула к сердцу, и на некоторое время я опять погрузился в бесчувственность. Придя в себя, я тотчас же вскочил на ноги, судорожно трепеща всем телом. Как сумасшедший, я стал махать руками над собой и вокруг себя по всем направлениям. Я не ощущал ничего; но меня ужасала мысль сделать хотя бы шаг, я боялся встретить стены *гробницы.* Я весь покрылся потом, он висел у меня на лбу крупными холод-

---

[35] Примечания: 35

auto-da-fe, аутодафе — акт веры *(исп.),* религиозная публичная церемония выступления проповедников перед казнью, зачитывание и исполнение приговоров инквизиции.

[36] Примечания: 36

Толедо — город в Испании.

ными каплями. Наконец пытка неизвестности сделалась невыносимой, и я сделал осторожное движение вперед, широко раскрыв руки и с напряжением выкатывая глаза, в надежде уловить хотя бы слабый проблеск света. Я сделал несколько шагов, но кругом была только пустота и тьма. Я вздохнул свободнее. По-видимому, было несомненно, что меня, по крайней мере, не ожидала участь самая ужасная.

И в то время как я продолжал осторожно ступать вперед, на меня нахлынули беспорядочной толпой воспоминания, множество смутных рассказов об ужасах, совершающихся в Толедо. О здешних темницах рассказывались необыкновенные вещи — я всегда считал их выдумками, — вещи настолько странные и страшные, что их можно повторять только шепотом. Было ли мне суждено погибнуть от голода в этом черном подземелье или, быть может, меня ожидала участь еще более страшная? Я слишком хорошо знал характер моих судей, чтобы сомневаться, что в результате должна была явиться смерть, и смерть — как нечто изысканное по своей жестокости. Единственно, что меня занимало или мучило, — это мысль, в какой форме придет смерть и когда.

Мои протянутые руки наткнулись, наконец, на

какое-то твердое препятствие. Это была стена, по-видимому, каменная, — очень гладкая, скользкая и холодная. Я пошел вдоль ее, ступая с крайней осторожностью, внушенной мне старинными рассказами. Однако этот прием не доставил мне никакой возможности исследовать размеры моей тюрьмы; я мог обойти стену и вернуться к месту, откуда я пошел, не замечая этого, настолько однообразна была эта стена. Тогда я потянулся за ножом, который был у меня в кармане, когда я был введен в инквизиционный зал, но он исчез. Платье было переменено на халат из грубой саржи. У меня была мысль воткнуть лезвие в какую-нибудь небольшую трещину и таким образом прочно установить исходную точку. Трудность, однако, была самая пустячная, хотя при расстройстве моей умственной деятельности она показалась мне сначала непреоборимой. Я оторвал от халата часть обшивки и положил этот кусок во всю длину к стене, под прямым углом. Идя на ощупь и обходя тюрьму кругом, я не мог не дойти до этого обрывка, совершив полный круг. Так, по крайней мере, я рассчитывал, но я не принял во внимание ни возможных размеров тюрьмы, ни собственной слабости. Почва была сырая и скользкая. Неверными шагами я шел

некоторое время вперед, потом споткнулся и упал. Крайнее утомление побудило меня остаться в этом распростертом положении, и вскоре мною овладел сон.

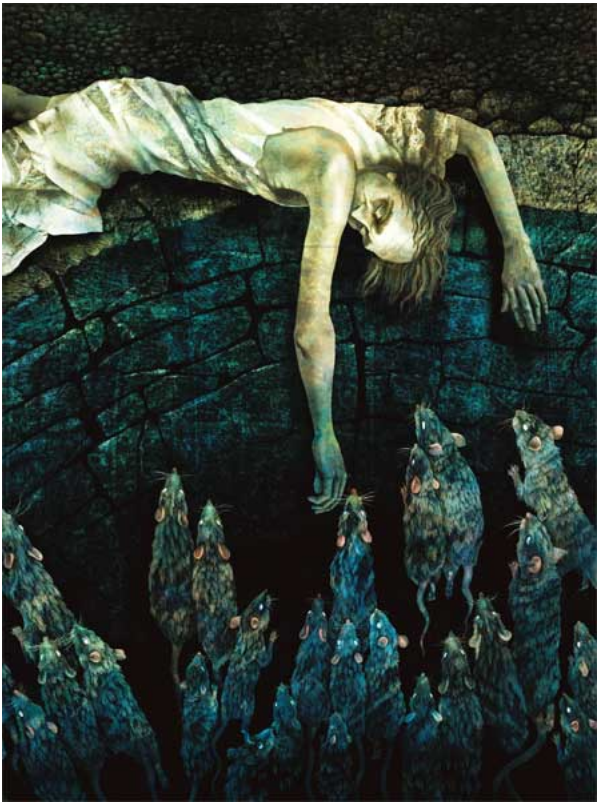
Проснувшись и протянув свою руку вперед, я нашел около себя хлеб и кружку с водой. Я был слишком истощен, чтобы размышлять, и с жадностью принялся пить и есть. Вскоре после этого я опять принялся огибать тюрьму и с большими трудностями пришел, наконец, к куску саржи. До того мгновения, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как продолжил свое исследование, мне пришлось сделать еще сорок восемь шагов, прежде чем я дошел до обрывка. В общем, значит, получилось сто шагов, и, допуская, что два шага составляют ярд, я предположил, что тюрьма простирается на пятьдесят ярдов в своей окружности. Я натолкнулся, однако, на множество углов и, таким образом, не мог узнать, какую форму имеет свод, мне показалось только, что это именно свод.

Мне, конечно, мало было пользы делать подобные взыскания: никакой надежды, разумеется, не могло быть с этим связано, но смутное любопытство побуждало меня продолжать их. Оставив стену, я решился пересечь площадь

тюрьмы. Сперва я ступал с крайними предосторожностями, потому что хотя пол и был сделан, по-видимому, из солидного материала, тем не менее он отличался предательской скользкостью. Потом, однако, я стал смелее и уже ступал твердо, без колебаний, пытаясь пересечь тюрьму по прямой линии, насколько это было для меня возможно. Я сделал таким образом шагов десять — двенадцать, как вдруг оставшаяся часть полуоборванной обшивки халата запуталась у меня между ног. Я наступил на нее и упал прямо лицом вниз.

В замешательстве падения я не мог сразу заметить одного поразительного обстоятельства, которое тем не менее не замедлило привлечь мое внимание через несколько секунд, пока я еще продолжал лежать распростертый во всю длину. Дело в том, что мой подбородок находился на полу тюрьмы, но губы и верхняя часть головы не прикасались ни к чему, хотя, по-видимому, они были на более низком уровне, чем подбородок. В то же самое время мой лоб, казалось, был окутан каким-то клейким испарением, и своеобразный запах гниющих грибков поразил мое обоняние. Я протянул перед собою руку и содрогнулся, увидя, что упал на самом краю круглого колодца, разме-

ров которого я, конечно, не мог определить в ту минуту. Ощупывая каменную кладку над самым краем, я смог оторвать небольшой обломок и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд я вслушивался в звуки камня, ударившегося о стену пропасти в своем нисхождении; наконец, он мрачно булькнул в воду, и этот звук был повторен громким эхом. В тот же самый момент послышался другой звук, точно надо мной мгновенно открылась и закрылась дверь, между тем как слабый отблеск света быстро скользнул во тьме и так же быстро исчез.



Я ясно увидел, какая участь была приготовлена для меня, и поздравил себя со счастливой случайностью, благодаря которой избежал ее. Еще

шаг, и меня не было бы в живых; и эта смерть отличалась именно таким характером, что я считал пустой выдумкой, когда о ней говорилось в рассказах, касавшихся инквизиции. Для жертв ее тирании была избираема смерть или с самыми жестокими физическими муками, или с самыми отвратительными нравственными ужасами. Мне было предназначено последнее. Благодаря долгим страданиям нервы мои были напряжены до такой степени, что я содрогался при звуках собственного голоса и сделался субъектом, во всех смыслах подходящим для ожидавших меня пыток.

Трепеща всем телом, я на ощупь пошел назад к стене — решаясь скорее умереть там, нежели подвергаться опасности познакомиться с ужасами колодцев, целое множество которых моя фантазия нарисовала мне вокруг меня в разных местах тюрьмы. При другом состоянии рассудка я имел бы мужество окончить свои беды сразу, бросившись в одну из пучин: но тогда я был самым жалким из трусов. Я не мог также забыть того, что читал об этих колодцах — именно, что *внезапная* смерть не составляла задачи их чудовищного устройства.

Душевное возбуждение продержало меня в со-

стоянии бодрствования в течение долгих часов; но наконец я опять заснул. Проснувшись, я нашел около себя, как прежде, хлеб и кружку с водой. Меня мучила страшная жажда, и я выпил всю воду сразу. Она, должно быть, была смешана с каким-нибудь составом, потому что едва я ее выпил, как мною овладела непобедимая сонливость. Я погрузился в глубокий сон — в сон, подобный смерти. Как долго он продолжался, я не могу, конечно, сказать; но когда я опять раскрыл глаза, окружающие предметы были видимы. Благодаря странному сернистому сиянию, происхождение которого я сперва не мог определить, я мог видеть размеры и внешние очертания тюрьмы. Я сильно ошибся касательно ее величины; вся окружность стен не превосходила двадцати пяти ярдов. Это обстоятельство на несколько минут наполнило меня целым множеством напрасных тревог; поистине напрасных — ибо при страшных обстоятельствах, под властью которых я находился, могло ли быть что-нибудь менее важное, нежели размеры моей тюрьмы? Но душа моя странным образом услаждалась пустяками, и я ревностно пытался объяснить себе свою ошибку. Наконец, истина внезапно открылась мне. Когда я в первый раз предпринял свои исследования, я

насчитал пятьдесят два шага до того времени, как упал; я должен был тогда находиться шага за два от куска саржи; в действительности я уже почти обошел весь свод. Потом я уснул и, проснувшись, пошел назад по пройденному пути, таким образом решил, что окружность тюрьмы была вдвое более против своих действительных размеров. Смутное состояние моего рассудка помешало мне заметить, что, когда я начал свое исследование, стена была у меня слева, а когда кончил, она была справа.

Я обманулся также и относительно формы тюрьмы. Ощупывая дорогу, я нашел много углов и отсюда вывел представление о большой неправильности. Так велика власть полной темноты, когда она оказывает свое действие на человека, пробуждающегося от летаргии или от сна! Углы представляли из себя не что иное, как некоторые небольшие понижения уровня или ниши, находившиеся на неровных промежутках друг от друга. Общая форма тюрьмы представляла из себя четырехугольник. То, что я счел каменной кладкой, оказалось железом или каким-нибудь другим металлом, это были огромные пласты, сшивки которых или смычки обусловливали понижение уровня. Вся поверхность этой

металлической загородки была осквернена отвратительными гнусными эмблемами, изобретениями замогильных монашеских суеверий. Фигуры угрожающих демонов в форме скелетов и другие образы, более реальные в своем ужасе, были всюду разбросаны по стенам, стены были изуродованы ими. Я заметил, что очертания этих искаженных призраков были довольно явственны, но что краски как будто были запятнаны действием сырой атмосферы. Я мог, кроме того, рассмотреть теперь и пол, он был из камня. В самом центре зиял круглый колодец, от пасти которого я ускользнул; но во всей тюрьме он был единственным.

Все это я видел неясно и с большими усилиями, потому что мое внешнее положение сильно изменилось за время сна. Я лежал теперь на спине во всю длину на каком-то деревянном срубе. Самым тщательным образом я был привязан к нему ремнем, похожим на священнический пояс. Проходя кругом, он облекал мои члены и все тело, оставляя на свободе только голову, а также левую руку, настолько, что я при помощи долгих усилий мог доставать пищу с глиняного блюда, стоявшего около меня на полу. К своему ужасу, я увидел, что кружка была отодвинута в сторону.

Я говорю — к своему ужасу, потому что меня терзала невыносимая жажда. Одним из намерений моих мучителей было, очевидно, усилить эту жажду: пища, находившаяся на блюде, была сильно пересолена.

Устремив свои взоры кверху, я стал рассматривать потолок тюрьмы. Он простирался надо мною на высоте тридцати или сорока футов и был по строению похож на боковые стены. Все мое внимание было приковано чрезвычайно странной фигурой, находившейся в одном из его панно. Это была фигура Времени, как она обыкновенно изображается, с той только разницей, что вместо косы она держала орудие, которое при беглом взгляде я счел нарисованным изображением громадного маятника, в роде тех, какие мы видим на старинных часах. Было, однако, нечто во внешнем виде этого снаряда, что меня заставило взглянуть на него пристальнее. В то время как я смотрел на маятник, устремляя взгляд прямо над собою (ибо он находился действительно как раз надо мной), мне почудилось, что он движется. В следующее мгновение мое впечатление оправдалось. Он покачивался коротким размахом и, конечно, медленно. Я следил за ним в течение нескольких минут отчасти с чувством страха,

но более с чувством удивления. Утомившись, наконец, я отвернулся и обратил свой взгляд на другие предметы, находившиеся в тюрьме.

Легкий шум привлек мое внимание, и, посмотрев на пол, я увидал несколько огромных крыс. Они только что вышли из колодца, который был мне виден справа. В то самое время, как я смотрел на них, они поспешно выходили целой стаей и сверкали жадными глазами, привлеченные запахом говядины. Мне стоило больших усилий и большого внимания, чтобы отогнать их.

Прошло, вероятно, полчаса, а быть может, и час (я мог только приблизительно судить о времени), прежде чем я опять устремил свой взгляд вверх. То, что я увидел тогда, поразило и смутило меня. Размах маятника увеличился в протяжении приблизительно на ярд. Естественным следствием этого была также большая скорость его движения. Но что главным образом исполнило меня беспокойством, это мысль, что он заметно *опускается.* Я заметил теперь, — нечего говорить, с каким ужасом, — что нижняя его конечность представляла из себя полумесяц из блестящей стали, приблизительно около фута в длину от одного изогнутого острия до другого; изогнутые острия обращались вверх, а нижний край был,

очевидно, остер как бритва. Как бритва, полумесяц представлялся также массивным и тяжелым, причем он суживался, заостряясь вверх от выгнутого края и составляя вверху нечто солидное и широкое. Он был привешен на массивном бронзовом стержне и, рассекая воздух, издавал *свистящий* звук.



Я не мог больше сомневаться относительно участи, которую приготовила для меня изысканная жестокость монахов. Агентам инквизиции

сделалось известным, что я увидел колодец — *колодец,* ужасы которого были умышленно приготовлены для такого смелого и мятежного еретика, — *колодец,* являющийся первообразом ада и фигурирующий в смутных легендах как Ultima Thule[37] всех инквизиционных кар. Падения в этот колодец я избежал благодаря простой случайности, и я знал, что делать из самих пыток ловушку и неожиданность было одной из важных задач при определении всех этих загадочных казней, совершавшихся в тюрьмах. Раз я сам избежал колодца, в дьявольский план совсем не входило сошвырнуть меня туда, ибо таким образом (ввиду отсутствия выбора) меня ожидала иная смерть более короткая! *Более короткая!* Я чуть не улыбнулся, несмотря на свои пытки, при мысли о таком применении этого слова.

К чему рассказывать о долгих-долгих часах ужаса, более чем смертельного, в продолжение которых я считал стремительные колебания стали! Дюйм за дюймом — линия за линией — она опускалась еле заметно — и мгновения казались мне веками — она опускалась все ниже, все ниже

---

[37] Примечания: 37

Ultima Thule — остров-призрак Туле, Фуле в северной части Европы по описаниям античных путешественников считался северным рубежом мира.

и ниже! Шли дни — быть может, прошло много дней, — прежде чем стальное острие стало качаться надо мною настолько близко, что уже навевало на меня свое едкое дыхание. Резкий запах стали поразил мое обоняние. Я молился — я теснил небо мольбами: пусть бы она опускалась скорее. Мною овладело безумное бешенство, я старался изо всех сил приподняться, чтобы подставить грудь кривизне этой сабли. И потом я внезапно упал, совершенно спокойный, и лежал, и с улыбкой смотрел на смерть в одежде из блесток, как ребенок смотрит на какую-нибудь редкостную игрушку.

Последовал новый промежуток полного отсутствия чувствительности; он был недолог, потому что когда я опять вернулся к жизни, в нисхождении маятника не было заметного изменения. Но, быть может, этот промежуток времени был и долог, ведь я знал, там были демоны, они выследили, что я лишился чувств, они могли задержать колебание маятника для продления услады. Кроме того, опомнившись, я почувствовал себя чрезвычайно слабым — о, невыразимо слабым и больным, как будто я страдал от долгого изнурения. Однако и среди пыток такой агонии человеческая природа требовала пищи. С

тягостным усилием я протянул руку, насколько мне позволяли мои оковы, и захватил объедки, оставшиеся мне от крыс. Едва я положил один из кусков в рот, как в голове моей быстро мелькнула полуявственная мысль радости и надежды. Но на *что мне* было надеяться? Как я сказал, это была полуявственная мысль — у человека возникает много мыслей, которым не суждено никогда быть законченными. Я почувствовал что-то радостное, что-то связанное с надеждой; но я почувствовал также, что эта вспышка мысли, едва блеснув, угасла. Напрасно я старался восстановить ее, закончить. Долгие страдания почти совсем уничтожили самые обыкновенные способности рассудка. Я был слабоумным — я был идиотом.

Колебание маятника совершалось в плоскости, составлявшей прямой угол с моим вытянутым в длину телом. Я видел, что полумесяц должен был пересечь область моего сердца. Он должен был перетереть саржевый халат и снова вернуться и повторить свою операцию — и снова вернуться — и снова вернуться. Несмотря на страшно широкий размах (футов тридцать или больше) и свистящую силу нисхождения, которая могла бы рассечь даже эти железные стены, все, что мог совершить качающийся маятник в тече-

ние нескольких минут, — это перетереть мое платье. И дойдя до этой мысли, я остановился. Дальше я не смел идти в своих размышлениях. Внимание мое упорно медлило — как будто, остановившись на данной мысли, я мог тем самым остановить нисхождение стали именно *здесь*. Я старался мысленно определить характер звука, который произведет полумесяц, рассекая мой халат, — определить особенное напряженное впечатление, которое будет произведено на мои нервы трением ткани. Я размышлял обо всех этих пустяках, пока они, наконец, не надоели мне.

Ниже — все ниже сползал маятник. Я испытывал бешеное наслаждение, видя контраст между медленностью его нисхождения и быстротой бокового движенья. Вправо — влево — во всю ширину — с криком отверженного духа! Он пробирается к моему сердцу крадущимися шагами тигра! Попеременно я хототал и выл, по мере того, как надо мной брала перевес то одна, то другая мысль.

Ниже — неукоснительно, безостановочно ниже! Он содрогался на расстоянии трех дюймов от моей груди! Я метался с бешенством, с яростью, стараясь высвободить левую руку. Она была свободна только от кисти до локтя. Я мог протянуть

ее настолько, чтобы с большими усилиями дотянуться до блюда и положить кусок в рот; только это было мне даровано. Если бы я мог разорвать оковы выше локтя, я схватил бы маятник, чтобы задержать его. Я мог бы с таким же успехом попытаться задержать лавину!

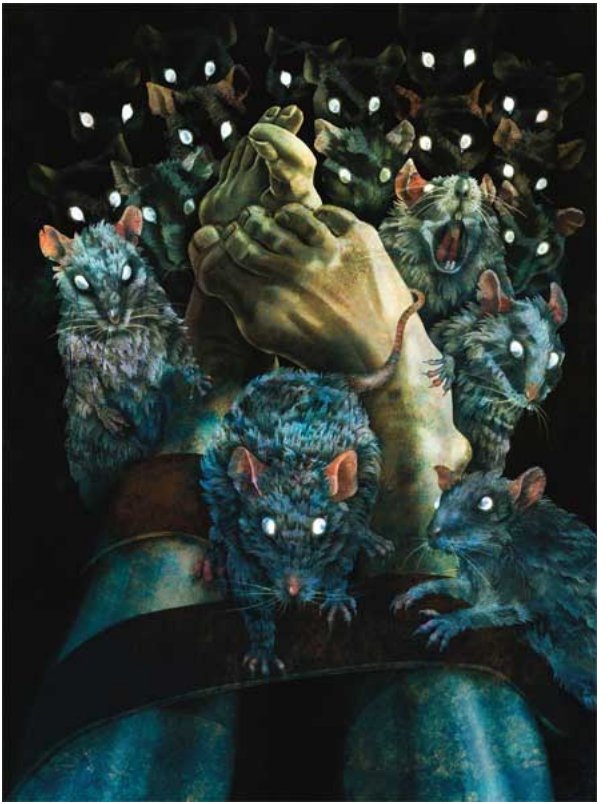
Ниже — неудержимо — все ниже и ниже! Я задыхался, я бился при каждом колебании. Я весь съеживался при каждом его взмахе. Глаза мои следили за вращением вверх и вниз, с жадностью самого бессмысленного отчаяния; когда маятник опускался вниз, они сами собою закрывались, как бы объятые судорогой, хотя смерть должна была бы принести мне облегчение, о, какое несказанное! И между тем я трепетал каждым нервом при мысли о том, какого ничтожного приближения этого орудия будет достаточно, чтобы сверкающая сталь вонзилась в мою грудь. Это *надежда* заставляла мои нервы трепетать, понуждала мое тело съеживаться. Это была *надежда* — которая торжествует и в застенке — шепчется с приговоренным к смерти даже в тюрьмах инквизиции.

Я увидал, что десяти или двенадцати колебаний будет достаточно, чтобы сталь пришла в непосредственное соприкосновение с моим платьем, и как только я это заметил, мой ум внезапно был

охвачен безутешным спокойствием отчаяния. В первый раз в течение многих часов или, быть может, дней я думал. Я понял теперь, что ремень или пояс, связывавший меня, был сплошным. Я был опутан не отдельными узами. Первый удар полумесяца, подобного бритве, должен был пройти поперек какой-нибудь части ремня и разделить его настолько, что я мог с помощью левой руки распутать его и откинуть от тела. Но как в этом случае должна быть ужасна близость стали! Последствие самых легких усилий насколько смертоносно! И кроме того, допустимо ли, чтобы приспешники моих мучителей не предвидели такой возможности и не позаботились сами насчет ее? Было ли это вероятно, чтобы ремень пересекал мою грудь в пределах колебания маятника? Боясь, что моя слабая и, по-видимому, последняя надежда окажется напрасной, я приподнял голову, настолько, чтобы отчетливым образом осмотреть свою грудь. Ремень плотно облегал мои члены и тело по всем направлениям, *исключая предметов пути убийственного полумесяца.*

Едва я откинул голову назад, на прежнее место, как в уме моем что-то вспыхнуло, шевельнулось что-то неопределенное; мне хотелось бы назвать это чувство половинным бесформенным обрыв-

ком той мысли об освобождении, на которую я прежде указывал и лишь половина которой промелькнула у меня в душе своими неясными очертаниями, когда я поднес пищу к пылающим губам. Теперь вся мысль была налицо — слабая, едва теплящаяся, едва уловимая, но все же цельная. Охваченный энергией отчаяния, я тотчас же приступил к ее исполнению.



Вот уже несколько часов около низкого сруба, на котором я лежал, суетились крысы — не суетились, а буквально кишели. Дикие, дерзкие,

жадные, они смотрели на меня блистающими красными глазами, как будто только ждали, когда я буду неподвижен, чтобы тотчас же сделать меня своей добычей. «К какой пище, — подумал я, — привыкли они здесь, в колодце?»

Несмотря на все мои старания отогнать их, они пожрали на блюде почти всю пищу, и там остались только объедки. Рука моя привыкла покачиваться вокруг блюда, и в конце концов это однообразное машинальное движение перестало оказывать на них какое-нибудь действие. Прожорливые твари нередко вонзали свои острые зубы в мои пальцы. Оставшимися частицами маслянистого и пряного мяса я тщательно натер ремень везде, где только мог до него дотянуться; потом, приподняв свою руку от пола, я задержал дыхание.

В первое мгновенье алчные животные были изумлены и устрашены переменой — испуганы прекращением движения. Они бешено ринулись прочь; многие спрятались в колодец. Но это продолжалось один миг. Я не напрасно рассчитывал на их прожорливость. Видя, что я был неподвижен, две-три крысы рискнули вскочить на сруб и начали обнюхивать ремень. Это было как бы сигналом для всей стаи. Крысы бешено бросились

вперед. Из колодца устремились новые толпы. Они цеплялись за сруб, они взбирались на него, они сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не тревожило. Избегая его ударов, они ревностно занялись уничтожением ремня. Они лезли одна на другую, они кишели на мне, собираясь все новыми грудами. Они судорожно ползали по моему горлу; их холодные губы встречались с моими; я наполовину задохся под этой живой кучей; грудь моя наполнилась отвращением, которому на свете нет имени, и сердце похолодело от ощущения чего-то тяжелого и скользкого. Но еще минута, и я почувствовал, что сейчас все кончится. Я совершенно явственно ощущал ослабление моих пут. Я знал, что уже в нескольких местах ремень был разъединен. Охваченный сверхчеловеческой энергией, я *еще* лежал.

Не ошибся я в своих расчетах, не тщетно ждал. Наконец я почувствовал, что теперь я *свободен.* Ремень лохмотьями свешивался с моего тела. Но уже удар маятника теснил мою грудь. Он уже перетер саржевый халат. Он уже разрезал холст внизу. Еще дважды качнулся маятник вправо и влево, и чувство острой боли дернуло меня за каждый нерв. Но миг спасенья настал. Я махнул

рукой, и мои спасители стремительно бросились прочь. Осторожно отодвигаясь вбок, медленно съеживаясь и оседая, я выскользнул из объятий перевязи и из пределов губительного лезвия. Хоть на миг, наконец *я был свободен.*

Свободен — и в когтях инквизиции! Едва я отошел от моего деревянного ложа пытки и ужаса, едва я ступил на каменный пол тюрьмы, как движение дьявольского орудия прекратилось, и я увидал, что оно было втянуто вверх через потолок действием какой-то невидимой силы. Это наблюдение наполнило мое сердце отчаянием. Не было сомнения, что каждое мое движение выслеживали. Свободен! Я ускользнул от смерти, являвшейся в форме страшной пытки, чтобы испытать терзания каких-нибудь новых пыток, еще более страшных, чем смерть. При этой мысли я судорожно выкатывал глаза и бессмысленно смотрел на железные стены, стоявшие непроницаемыми преградами. Что-то необыкновенное произошло в тюрьме — какая-то очевидная и странная перемена, которую я сначала не мог должным образом определить. В течение нескольких минут размышления, похожего на сон и исполненного трепета, я тщетно старался разобраться в бессвязных догадках. Тут

я впервые понял, откуда происходил сернистый свет, освещавший тюрьму. Он проходил сквозь трещину, приблизительно в полдюйма ширины, простиравшуюся кругом всей тюрьмы и находившуюся в основании стен, которые, таким образом, были совершенно отделены от пола. Я попытался, но, конечно, напрасно, посмотреть сквозь расщелину.

Когда я приподнялся, тайна перемены, происшедшей кругом, сразу предстала моим взорам. Я видел, что хотя очертания фигур, находившихся на стенах, были в достаточной степени явственны, краски представлялись, однако же, поблекшими и неопределенными. Эти краски начали теперь блистать самым поразительным резким светом, блеск с минуты на минуту все усиливался и придавал стенным фантомам такой вид, который мог бы потрясти нервы и более крепкие, чем мои. Везде кругом, где раньше ничего не было видно, блистали теперь дьявольские глаза; они косились на меня с отвратительной, дикой напряженностью, они светились мертвенным огнистым сиянием, и я напрасно старался принудить себя считать этот блеск нереальным.

Нереальным! Мне достаточно было втянуть в себя струю воздуха, чтобы мое обоняние ощутило

пар, исходивший от раскаленного железа! Удушливый запах наполнил тюрьму! Блеск, все более яркий, с каждым мигом укреплялся в глазах, взиравших на мои пытки! Багряный цвет все более и более распространялся по этим видениям, по этим разрисованным кровью ужасам. Я едва стоял на ногах! Я задыхался! Не оставалось ни малейших сомнений касательно намерений моих мучителей — о, безжалостные палачи! О, ненавистные изверги! Я отшатнулся от пылавшего металла, отступил к центру тюрьмы. Перед ужасом быть заживо сожженным мысль о холодных водах колодца наполнила мою душу бальзамом. Я бросился к его губительному краю. Я устремил свой напряженный взгляд вниз. Блеск, исходивший от раскаленного свода, освещал самые отдаленные уголки. Но один безумный миг — и душа моя отказалась понять значение того, что я видел. Наконец, это нечто вошло в мою душу — втеснилось, ворвалось в нее — огненными буквами запечатлелось в моем трепещущем уме. О, дайте слов, дайте слов, чтобы высказать все это! Какой ужас! О, любой ужас, только не этот! С криком я отстранился назад от края колодца и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жар быстро увеличивался, и я опять взглянул

вверх, охваченный лихорадочной дрожью. Вторичная перемена произошла в тюрьме, и теперь эта перемена очевидно касалась *ее формы.* Как и прежде, я сначала напрасно пытался определить, в чем состояла перемена, или понять, откуда она происходила. Но я недолго оставался в неизвестности. Инквизиторская месть спешила, будучи раздражена моим вторичным спасением, и больше уже нельзя было шутить с Властителем Ужасов. Тюремная камера представляла из себя четырехугольник. Я видел, что два железных угла этого четырехугольника были теперь острыми — два, понятно, тупыми. Страшная перемена быстро увеличивалась, причем раздавался глухой, стонущий гул. В одно мгновение тюрьма приняла форму косоугольника. Но перемена не остановилась на этом — я не надеялся, что она на этом остановится, я даже не желал, чтобы она остановилась. Я обнял бы эти красные стены, я хотел бы прижать их к груди своей, как одежду вечного покоя. «Пусть смерть, — говорил я, — пусть приходит какая угодно смерть, только не смерть от утопления!» Безумец! Как я мог не догадываться, что раскаленное железо именно и должно было загнать меня *в колодец?* Разве я мог противиться его раскаленности? Или, если

бы это было так, разве я мог противиться его давлению? А косоугольник все сплющивался и сплющивался, у меня не было больше времени для размышлений. Его центр и, конечно, его самая большая широта приходились как раз над зияющей пучиной. Я отступал назад — но сходящиеся стены безостановочно гнали меня вперед. Наконец, для моего обожженного и корчившегося тела оставался не более как дюйм свободного пространства на тюремном полу. Я уже не боролся, и агония моей души проявлялась только в одном громком, долгом и последнем крике отчаяния. Я почувствовал, *что* колеблюсь на краю колодца, — я отвернул свои глаза в сторону.

Там, где-то в вышине, послышался гул спорящих людских голосов! Раздался громкий звук, точно возглас многих труб! Послышался резкий грохот, точно от тысячи громовых ударов! Огненные стены откинулись назад! Чья-то рука схватила мою руку, когда, теряя сознание, я падал в пучину. То была рука генерала Лассаля[38]. Французская армия вошла в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.

---

[38] Примечания: 38

Генерал Лассаль — Антуан Шарль Луи де Лассаль — прославленный французский генерал, имя которого выбито на Триумфальной арке в Париже.

Вильям Вильсон

Что будет говорить об этом совесть,
Суровый призрак, – бледный мой двойник

В. ЧЕМБЕРЛЕН. «ФАРОНИДА»[39]

Перевод Константина Бальмонта

Да будет мне позволено называться в настоящее время Вильямом Вильсоном. Чистая бумага, лежащая теперь передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем: оно более чем в достаточной степени уже послужило для моей семьи источником презрения, ужаса и от вращения. И разве возмущенные ветры не распространили молву о беспримерной низости этого имени до самых отдаленных уголков земного шара? О несчастный отверженец, самый погибший из отверженцев! Разве ты не мертв для земли навсегда? Не мертв для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых упований? И разве между твоими надеждами и небом не висит вечная туча,

[39] Примечания: 39

«Фаронида» — героическая поэма в стихах английского писателя Вильяма Чемберлена.

густая, мрачная и безграничная?

Я не хотел бы, если бы даже и мог, записать теперь на этих страницах рассказ о моих последних годах, о годах невыразимой низости и неизгладимых преступлений. Этот период моей жизни внезапно нагромоздил такую массу всего отвратительного, что теперь моим единственным желанием является только определить начало такого падения. Люди обыкновенно делаются низкими постепенно. С меня же все добродетельное спало мгновенно, как плащ. Совершив гигантский прыжок, я перешел от испорченности сравнительно заурядной к чудовищной извращенности Гелиогабала[40]. Пусть же мне будет позволено рассказать, как все это произошло благодаря одной случайности, благодаря одному-единственному событию. Смерть приближается, и тени, ей предшествующие, исполнили мою душу своим благодетельным влиянием. Проходя по туманной долине, я томлюсь желанием найти сочувствие; мне почти хочется сказать, что я жажду вызвать сострадание в сердцах братьев-людей. Мне хотелось бы заставить их верить, что

[40] Примечания: 40

Гелиогабал, Элагабал — римский император, за четыре года правления вызвал такую ненависть подданных, что был убит. Отличался вызывающим поведением, аморальностью, жестокостью.

я был до известной степени рабом обстоятельств, лежащих за пределами человеческого контроля. Мне хотелось бы, чтобы, рассматривая все, что я намерен сейчас рассказать, они нашли для меня маленький оазис *фатальности* среди пустыни заблуждений. Я желал бы, чтобы они признали (чего они не могут не признать), что, хотя много было в мире искушений, никогда раньше человек не был искушаем *таким образом*, во всяком случае не пал *таким образом.* Не оттого ли, может быть, что он никогда так не страдал? На самом деле, не жил ли я во сне? И не умираю ли я теперь жертвою ужаса и тайны самой странной из всех безумных сновидений, когда-либо существовавших под луной?

Я потомок расы, темперамент которой, легко возбудимый и богатый воображением, всегда обращал на себя внимание; и в раннем моем детстве я не раз доказал, что у меня фамильный характер. По мере того как я вырастал, наследственные черты развивались все с большей силой, делаясь весьма часто источником серьезных неприятностей для моих друзей и источником положительного ущерба для меня. Я становился своенравным, отдавался самым странным капризам и делался жертвой самых непобеди-

мых страстей. Мои родители, слабохарактерные и угнетаемые природными недостатками, подобными моим, могли в очень малой степени пресечь дурные наклонности, развивавшиеся у меня. Несколько слабых и дурно направленных попыток, сделанных ими, окончились полным фиаско и, естественно, послужили для моего окончательного торжества. Отныне мой голос сделался в доме законом, и, находясь в том возрасте, когда немногие из детей оставляют свои помочи, я был предоставлен руководительству моей собственной воли и во всем, кроме имени, сделался господином всех своих поступков.

Первое воспоминание о моей школьной жизни связано с большим древним зданием в стиле времен Елизаветы, находящимся в одном из туманных селений Англии, где было множество гигантских сучковатых деревьев и где все дома отличались большой древностью. И правда, это почтенное, старое селение было чудесным местом, умиротворяющим дух и похожим на сновидение. Я ощущаю теперь в воображении освежительную прохладу этих тенистых аллей, вдыхаю аромат тысячи кустарников и снова исполняюсь трепетом необъяснимого наслаждения, слыша глухие глубокие звуки церковного

колокола, каждый час возмущающего своим угрюмым и внезапным ревом тишину туманной атмосферы, где мирно дремлет вся украшенная зубцами, готическая колокольня.

Чувство наслаждения в той степени, на какую я еще способен теперь, сразу охватывает меня, когда я останавливаюсь воспоминанием на мельчайших подробностях школьной жизни со всеми ее маленькими треволнениями. Мне, погруженному в злополучие — увы, слишком реальное, — вероятно, будет прощено, что я ищу утешения, хотя бы слабого и непрочного, в перечислении разных ничтожных деталей. Кроме того, будучи крайне обыкновенными и даже смешными, они приобретают в моем воображении двойную ценность, ибо связаны с тем временем и местом, когда я получил первое предостережение судьбы, с тех пор уже окутавшей меня такой глубокой тенью. Так пусть же идут воспоминания.



Как я сказал, дом был стар и неправилен по своему строению. Он занимал большое пространство и весь был окружен высокой и плотной

кирпичной стеной, наверху которой был положен слой извести и битого стекла. Этот оплот, достойный тюремного здания, составлял границу наших владений. За пределы его мы выходили только три раза в неделю: во-первых, каждую субботу после обеда, когда в сопровождении двух приставников мы могли в полном составе делать небольшую прогулку по окрестным полям, и, во-вторых, в воскресенье, когда в одном и том же формальном порядке мы ходили на утреннюю и на вечернюю службу в местную церковь. Пастор этой церкви был начальником в нашей школе. С каким глубоким чувством удивления и смущенности смотрел я обыкновенно на него с нашей отдаленной скамьи, когда, медленными и торжественными шагами, он всходил на кафедру. Неужели этот почтенный человек с лицом таким елейно-благосклонным и с париком таким строгим, громадным и так тщательно напудренным, в одеянии таком блестящем и так священнически волнующемся, — неужели он тот же самый человек, который только что с сердитой физиономией и в платье, запачканном нюхательным табаком, применял с линейкой в руке драконовские законы школьного кодекса? О, гигантский парадокс, слишком чудовищный,

чтобы допускать разгадку!

В одном из углов массивной стены хмурилась еще более массивная дверь. Она была покрыта заклепками, снабжена железными засовами, а вверху были вделаны зазубренные гвозди. Что за непобедимое ощущение глубокого страха внушала она! Эта дверь не открывалась никогда, исключая трех периодических случаев, уже упомянутых; и тогда в каждом взвизгивании ее могучих петель мы находили избыток таинственного, целый мир ощущений, вызывающих торжественные замечания или еще более торжественные размышления.

Обширная загородка была неправильна по форме, в ней было много обширных углублений. Три или четыре такие углубления представляли из себя место для игр. Это было ровное пространство, покрытое мелкой твердой дресвой[41]. Я прекрасно помню, что здесь не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-нибудь другого в этом роде. Разумеется, это пространство находилось позади дома. А перед фасадом была небольшая лужайка, засаженная буксом и другими деревцами, но по этому священному месту мы проходили только

[41] Примечания: 41

Дресва — осадочная горная порода, мелкий щебень или крупный песок.

при самых экстренных оказиях, как, например, при первом вступлении в школу или при окончательном удалении из нее, или же иногда в тех случаях, если какой-нибудь родственник или друг присылал за нами, и мы весело отправлялись домой на Святки или на летнюю вакацию.

Но дом, дом — какое причудливое зрелище представляло из себя это древнее здание! Мне оно представлялось поистине замком чар! Поистине, в нем конца не было разным переходам и самым непостижимым подразделениям. Положительно трудно было сказать с определенностью в ту или другую минуту, на каком именно этаже вы находитесь. Из каждой комнаты в другую непременно было три-четыре ступеньки. Затем неисчислимо было количество этих боковых отделений, невозможно было понять, как они сплетались между собою и, соединяясь, возвращались к себе, так что самые точные наши представления о целом здании не очень отличались от наших представлений о бесконечности. В продолжение моего пятилетнего пребывания здесь я никогда не был способен с точностью удостовериться, в каком именно отдаленном уголке находилась спаленка, предназначенная для меня и для других восемнадцати — двадцати моих сотоварищей.

Классная комната была самой большой в доме, — быть может, даже, как я тогда думал, самой большой в целом мире, — чрезвычайно узкая, длинная, угрюмо-низкая, с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном углу, невольно внушающем страх, была четырехугольная загородка, футов в восемь или десять: здесь находилось sanctum[42], здесь, в часы занятий, заседал наш принципал, достопочтенный доктор Брэнсби. Это было солидное сооружение, с массивными дверями; мы согласились бы скорее погибнуть, претерпев la peine forte et dure[43], нежели открыть эту дверь в отсутствие «dominie»[44]. В других углах комнаты были два подобных же помещения, правда гораздо менее чтимые, но все-таки достаточно страшные. Именно, в одном углу находилась кафедра учителя «древних языков», в другом кафедра учителя «английского языка и математики». Пересекая

---

[42] Примечания: 42

Святилище *(лат.).*

[43] Примечания: 43

La peine forte et dure — «сильное и продолжительное мучение» *(фр.)* Пытки, с помощью которых подозреваемых вынуждали давать показания: на груди располагали доску, сверху складывали камни, постепенно увеличивая давление. Если подозреваемый умирал в процессе, но так и не начинал говорить, формально он признавался невиновным.

[44] Примечания: 44

Наставник (*лат*).

комнату во всевозможных направлениях, всюду были рассеяны скамейки и пюпитры, черные, старинные и изношенные временем, заваленные отчаянным множеством истерзанных книг, и до такой степени разукрашенные инициалами, именами, забавными фигурами и разными другими отметками ножа, что первоначальная форма давно минувших дней была совершенно утрачена. В одном из крайних пунктов комнаты находилось огромное ведро с водой, а в другом — часы ужасающих размеров.

Заключенный в массивных стенах этого почтенного заведения, я провел, могу сказать, без скуки и без отвращения, все третье пятилетие моей жизни. Плодотворный детский ум не нуждается в богатом внешнем мире, чтобы работать и развлекаться; монотонная школьная жизнь, по-видимому, такая унылая, была исполнена гораздо более сильных возбуждений, чем те услады, которые в более зрелой юности я извлекал из сладострастия, или те возбуждения, которые я в период полной возмужалости находил в преступлениях. Однако я думаю, что мое первоначальное духовное развитие было далеко не ординарным и даже чрезмерным. События первых дней существования обыкновенно очень редко оставляют

у людей какие-нибудь определенные впечатления, которые могли бы сохраниться до зрелого возраста. Все это приобретает характер туманной тени — делается смутным неопределенным воспоминанием — превращается в еле явственный отблеск слабых радостей и фантасмагорических страданий. Не так было со мной. Я должен был в детстве чувствовать с энергией мужчины то, что я нахожу теперь глубоко запечатлевшимся в моей душе, так резко и глубоко, что я мог бы сравнить эти впечатления с надписями, вытисненными на старинных карфагенских медалях.

И однако же, на самом деле — если становиться на повседневную точку зрения — о чем тут в сущности вспоминать! Утреннее пробуждение, призыв к ночному сну, уроки, предварительные репетиции, периодический отдых и прогулки, игры, забавы, ссоры и интриги — все это, вызванное в памяти точно колдовством, увлекает меня к целому миру ощущений, к миру, богатому разными случайностями, впечатлениями, возбуждением самым страстным и разнообразным. «Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!»[45].

Будучи исполнен энтузиазма, обладая натурой

[45] Примечания: 45

Oh, le bon temps, que ce siècle de fer! — О, какое хорошее время, этот железный век! *(фр.)* (Вольтер «Сатир»).

пылкой и властной, я очень скоро выделился из среды товарищей и мало-помалу вполне естественным порядком приобрел верховенство надо всеми, кто не был значительно старше меня, — надо всеми, исключая только одного. Я разумею одного товарища, который хотя и не был связан со мной родственными отношениями, однако имел то же самое имя и ту же самую фамилию, — обстоятельство, правда, мало замечательное, ибо, несмотря на благородное происхождение, я носил одно из тех заурядных имен, которые, по-видимому на правах давности, сделались с незапамятных времен общим достоянием толпы. Поэтому я и назвал себя в данном повествовании Вильямом Вильсоном — вымышленное наименование, не очень отличающееся от действительного. Только один мой однофамилец из всех товарищей, составлявших, говоря школьным языком, «нашу партию», осмеливался соперничать со мной в классных занятиях, в играх и раздорах, отказывался верить безусловно моим утверждениям и подчиняться моей воле, решался в самых разнообразных отношениях вмешиваться в сферу моей неограниченной диктатуры. А если есть на земле действительно безмерный деспотизм, — то это именно деспотизм властолюбивого детского ума,

когда он соприкасается с менее энергическими умами сотоварищей.



Мятежническое поведение Вильсона было для меня источником величайших затруднений, тем более что, несмотря на браваду, с которой я публично относился к нему и к его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не замечать, что равенство со мной, которое он поддерживал так легко, было доказательством его истинного превосходства, ибо мне стоило беспрерывных усилий оставаться не побежденными. Однако это превосходство — или даже это равенство — не было известно никому, кроме меня; наши товарищи, по какой-то необъяснимой слепоте, по-видимому, даже и не подозревали о нем. Действительно, соперничество Вильсона, его сопротивление и, в особенности, его наглое и упорное вмешательство в мои планы было столько же утонченным, сколько скрытым. Он, казалось, был совершенно лишен также и честолюбия, побуждавшего меня стремиться к превосходству, и страстной энергии ума, дававшей мне к этому возможность. Можно было предположить, что в своем соперничестве он руководился единственно капризным желанием противоречить мне, удивлять или унижать меня, хотя были минуты, когда я не мог не заметить со смутным чувством изумления приниженно-

сти и раздражения, что он примешивал к своим оскорблениям и к своему упорному желанию противоречить совершенно неподходящую и в высшей степени досадную учтивость. Я мог приписать такое странное поведение только одному, а именно: я видел в этом результат того крайнего самодовольства, который позволяет себе вульгарный тон покровительства и превосходства. Быть может, эта последняя черта в поведении Вильсона вместе с тождеством наших имен и с случайным поступлением в школу в один и тот же день была причиной того, что среди старших учеников школы распространилось мнение, будто мы — братья. Ученики старших классов вообще не входят особенно подробно в дела младших товарищей. Я раньше сказал, или должен был бы сказать, что Вильсон не был связан родством с моей семьей, хотя бы в самой отдаленной степени. Но, во всяком случае, если бы мы *были* братьями, мы должны были бы быть близнецами: на самом деле, оставив заведение доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой соименник родился 19 января 1813 года, и нужно сказать, что данное совпадение несколько удивительно, так как я родился именно в этот же день.

Может показаться странным, что, несмотря на

постоянную тревогу, которую причиняли мне соперничество Вильсона и его нестерпимая манера во всем мне противоречить, я не мог заставить себя питать к нему ненависть. Правда, между нами почти ежедневно возникала какая-нибудь ссора, причем, отдавая мне публично пальму первенства, он умел тем или иным способом дать мне почувствовать, что это *он* ее заслуживает; но чувство гордости с моей стороны и чувство истинного достоинства — с его держали нас постоянно в таких отношениях, что мы «говорили друг с другом»; в то же время в наших темпераментах было очень много черт настоящего сродства, вызывавшего во мне такое чувство, которому, быть может, только наше положение помешало превратиться в дружбу. Трудно на самом деле определить или хотя бы описать мои настоящие чувства по отношению к нему. В них было много чего-то пестрого и разнородного; тут была и бурная враждебность, не являвшаяся однако ненавистью, было и уважение, еще больше почтения, много страха и чрезвычайно много болезненного любопытства. Для моралиста излишне добавлять, что мы были с Вильсоном самыми неразлучными сотоварищами. Нет сомнения, что именно такое ненормальное положение дела придало всем

моим нападкам на него (а их было много и открытых, и тайных) скорее характер издевательства и проделок (преследовавших цель — уязвить его чем-нибудь потешным), нежели характер серьезной и определившейся враждебности. Но мои попытки такого рода отнюдь не были одинаково успешны даже тогда, когда мои планы бывали составлены самым хитроумным образом; у моего соименника было в характере много той беспритязательной и спокойной строгости, которая, услаждаясь едкостью своих собственных шуток, не имеет ахиллесовой пяты и совершенно не поддается насмешке. Я мог найти в нем только один слабый пункт, происходивший, вероятно, от прирожденного недостатка; другой соперник, не исчерпавший свое остроумие в такой степени, как я, конечно, никогда не коснулся бы подобного недостатка: у Вильсона была слабость горловых или гортанных органов, что мешало ему говорить громко, — он постоянно говорил *очень тихим шепотом.* Из этого я не замедлил извлечь все скудные выгоды, какие только мог найти здесь.

Вильсон прибегал к очень разнородным способам отплаты; в особенности одна форма его проделок смущала меня выше всякой меры. Каким образом у него хватило проницательности

увидать, что такой пустяк может меня мучить — плебейское имя. Эти слова положительно отравляли мой слух; и когда в день моего прибытия в школу сюда явился второй Вильям Вильсон, я почувствовал досаду на него за то, что он носил такое имя, и вдвойне проникся отвращением к своему имени, потому что чужой носил его, — я знал, что этот чужой будет причиной его двукратных повторений, что он постоянно будет находиться в моем присутствии, и дела его, в обычной повседневности школьных занятий, должны будут часто смешиваться с моими, по причине этого противного совпадения.

Чувство раздражения, создавшееся таким образом, стало усиливаться после каждой случайности, стремившейся показать моральное или физическое сходство между моим соперником и мной. Я не знал тогда замечательного факта, что наш возраст был одинаков; но я видел, что мы были одинакового роста, и заметил, что мы отличались даже поразительным сходством в общих контурах лица и в отдельных чертах. Меня бесили, кроме того, слухи о нашем родстве, распространившиеся до необычайности. Словом, ничто не могло меня смущать более серьезно (хотя я тщательно скрывал такое смущение),

нежели намек на существующее между нами сходство ума, личности или происхождения. Но по правде сказать, я не имел основания думать, чтоб это сходство было когда-нибудь предметом толков среди наших сотоварищей или чтобы оно даже было замечено кем-нибудь из них (исключая самого Вильсона и обходя молчанием слухи о родстве); но что *он* заметил сходство всех наших манер, и так же ясно, как я сам, это было очевидно: однако уменье извлечь из таких обстоятельств такую громадную возможность причинять неприятности я мог объяснить только его выдающейся проницательностью. Превосходно подражая мне в словах и в поступках, он рисовал перед моими взорами меня самого, и играл свою роль великолепно. Скопировать мой костюм — это было легко; моя походка и общие манеры были усвоены без затруднений; но, несмотря на его природный недостаток, от него не ускользнул даже мой голос. Громкие интонации, конечно, не могли быть передразнены, но, в сущности, это было одно и то же: *его своеобразный шепот сделался настоящим эхом моего голоса.*

Не берусь описать, как меня мучило и терзало это изысканное уменье нарисовать мой портрет (действительно, портрет, а не карикатуру). У ме-

ня было одно утешение: имитация, по-видимому, была замечена только мною, и мне приходилось терпеть только странные саркастические улыбки моего соименника. Удовлетворившись впечатлением, произведенным на меня, он как бы подсмеивался исподтишка над тем, как он хорошо уязвил меня, и выказывал очень своеобразное пренебрежение к публичному одобрению, которое мог бы легко снискать своими остроумными проделками. Тот факт, что школьные товарищи не видели его намерений, не понимали совершенства в их исполнении и не участвовали в его насмешках, был для меня большой загадкой, — в течение нескольких месяцев я размышлял об этом тревожно и безуспешно. Быть может, утонченность *градации* в его передразнивании делала копирование не таким заметным, или, еще более вероятно, я был обязан своей безопасностью мастерским приемам создателя копии, который, пренебрегая буквой (слишком очевидной для всех, даже тупых), передавал только дух подлинника — передавал так хорошо, что мне оставалось смотреть и огорчаться.

Я уже говорил неоднократно о противной манере, которую Вильсон усвоил по отношению ко мне, и о его частом назойливом вмешатель-

стве в мои желания. Это вмешательство нередко принимало неприятный характер совета — совета, не даваемого открыто, но указываемого через посредство намека. Я принимал подобные советы с отвращением, и оно увеличивалось по мере того, как я становился старше. Однако в эти далекие дни — простая справедливость заставляет меня признать это — он никогда не внушал мне тех ошибок и безумств, которые были столь свойственны его незрелому возрасту и видимой неопытности. Я должен признаться, что если его таланты и светский такт не равнялись моим, нравственное чувство было у него гораздо острее, чем у меня; я должен признаться, что я был бы теперь более хорошим человеком, а потому и более счастливым, если бы я реже отвергал советы, которые он давал мне таким выразительным шепотом и которые я тогда слишком искренно ненавидел и слишком горько презирал.

В конце концов во мне пробудилось крайнее упрямство при виде такого отвратительного надзора; со дня на день я все более и более открыто злобствовал на то, что считал невыносимой дерзостью. Я сказал, что в первые годы нашей совместной жизни мои чувства легко могли бы превратиться в дружбу; но в последние меся-

цы моего пребывания в школе, несмотря на то, что его обычная назойливость, без сомнения, уменьшилась, мной овладело почти в том же соотношении ощущенье положительной ненависти. Мне кажется, что однажды он увидел это и стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если я верно вспоминаю, как раз около этого периода во время одной очень сильной распри, когда он более обыкновенного отрешился от своей осмотрительности и держал себя с открытой резкостью, почти чуждой его натуре, я заметил в его интонации, в его манерах, во всем выражении его физиономии что-то особенное, что сперва изумило меня, а потом глубоко заинтересовало, вызывая в уме туманное видение самого раннего детства, смутные, странные и торопливые воспоминания о том времени, когда память еще не рождалась. Не могу лучше описать ощущение, охватившее меня, как сказав, что я не в силах был отрешиться от убеждения, что я знал существо, стоявшее передо мною, знал в давно прошедшие дни, в бесконечно отдаленном прошлом. Однако обманчивая мечта поблекла так же быстро, как пришла, и я упоминаю о ней только затем, чтобы определить день последнего разговора с моим странным одноименным сотоварищем.



В громадном старинном доме с его бесконечными подразделениями было несколько больших комнат, сообщавшихся между собою и служив-

ших спальнями для большинства учащихся. Было в нем, кроме того (явление неизбежное в здании, выстроенном так неуклюже), множество уголков и закоулков, выступов и углублений, которыми бережливый гений доктора Брэнсби также сумел воспользоваться в качестве дортуаров, хотя будучи не чем иным, как чуланами, они могли вмещать в себя только по одному субъекту. Именно в одном из таких маленьких помещений спал Вильсон.

Однажды ночью на исходе пятого года моей школьной жизни, — и как раз после ссоры, о которой я только что упоминал, — видя, что все спят, я встал с постели и, держа лампочку в руке, прокрался через целую пустыню узких переходов из моей собственной спальни к спальне моего соперника. Я давно замышлял одну из тех злых проделок, в которых до тех пор неизменно терпел фиаско. Теперь я твердо решился привести свой план в исполнение и заставить его почувствовать всю силу злости, заполнившей мое сердце. Достигнув его чулана, я бесшумно вошел туда, оставив лампочку у входа и предварительно затенив ее. Я сделал шаг, приблизился и услышал звук спокойного дыхания. Уверившись, что он спит, я повернулся назад, захватил огонь и снова

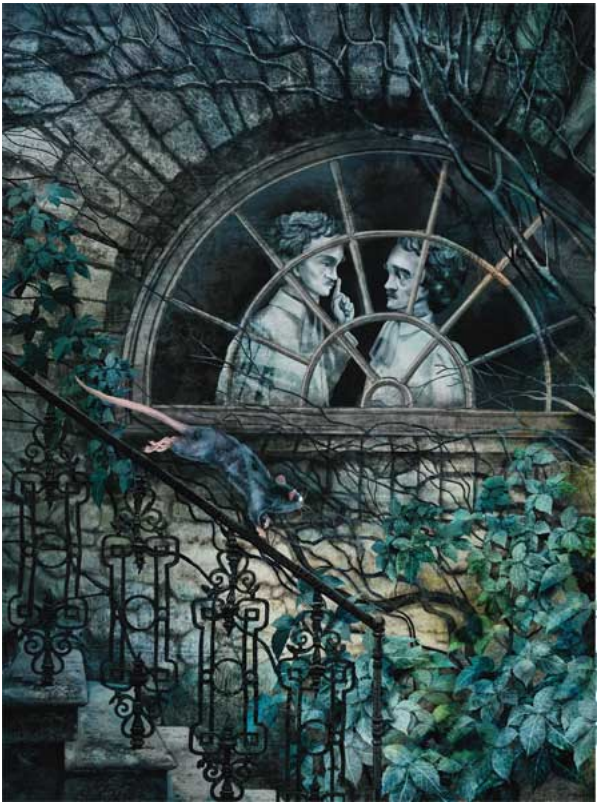
приблизился к постели. Вокруг нее задернуты были занавеси: для исполнения своего плана я тихонько раздвинул их. Яркие лучи упали на лицо спящего, и в тот же самый миг, увидав это лицо, я почувствовал, что холодею, я мгновенно весь оцепенел. В груди что-то сжалось, колени задрожали, и душа моя исполнилась беспредметным невыносимым ужасом. Задыхаясь, я опустил лампу в уровень с лицом. Как, это Вильям Вильсон — *это* черты его лица! Я прекрасно видел, что это — его черты, но дрожал, как в лихорадке, воображая, что то не были черты его лица. Что же *было* в них, что меня смутило до такой степени? Я смотрел, и в моем уме бешено роилось множество бессвязных мыслей. Не таким он являлся мне — о, конечно, *не таким* — в те яркие часы, когда он не спал. То же самое имя, те же контуры лица, прибытие в школу в один и тот же день, и потом это проклятое бессмысленное подражание моей походке, моему голосу и моим манерам. Неужели границы человеческой возможности дозволяли то, что я *видел теперь?* Неужели это было не чем иным, как следствием постоянной привычки проделывать насмешливое подражание? Пораженный ужасом и весь охваченный трепетом, я молча вышел из комнаты и покинул

стены этого древнего заведения, чтобы более не возвращаться в него никогда.

По истечении нескольких месяцев, проведенных дома в полной праздности, я уехал учиться в Итон. Краткого промежутка времени было достаточно, чтобы ослабить воспоминание о событиях, совершившихся в школе Брэнсби, или по крайней мере его было достаточно, чтобы внести существенную перемену в характер воспоминаний. Действительность, трагическая сторона драмы, более не существовала. Я имел достаточные мотивы сомневаться в очевидных показаниях моих чувств и редко вспоминал о всех этих приключениях без того, чтобы не удивляться, как велико человеческое легковерие, и не улыбаться на прирожденную живость моей фантазии. Та жизнь, которой я жил в Итоне, отнюдь не могла уменьшить мой скептицизм. Я бросился в водоворот неудержного безумства, и в нем тотчас же и безвозвратно потонуло все, и осталась только пена воспоминания; я сразу потопил все серьезные и глубокие впечатления, и в памяти моей сохранились только самые жалкие примеры моего легкомыслия, отличавшего мою прежнюю жизнь.

Я не имею, однако, намерения отмечать здесь

весь путь моего жалкого беспутства — беспутства, которое насмехалось над всякими законами и избегало бдительности всякого надзора. Три года безумств, проведенных без всякой пользы, сделали меня только закоренелым в порочных привычках и прибавили нечто к моему физическому развитию, прибавили даже в степени несколько необыкновенной. Как-то после недели низких забав я пригласил к себе нескольких из наиболее распутных студентов на тайную попойку. Мы сошлись в поздний час ночи, ибо наши излишества обыкновенно продолжались добросовестным образом вплоть до утра. Вино лилось неудержно, и не было, кроме того, недостатка в других, быть может, более опасных соблазнах, так что наши безумные экстравагантности достигли своей вершины, когда на востоке слабо забрезжился туманный рассвет. Бешено разгоряченный картами и вином, я настаивал на каком-то необыкновенно богохульном тосте, как вдруг мое внимание было привлечено резким звуком: дверь в комнату быстро открылась, хотя только чуть-чуть, и оттуда раздался торопливый голос моего слуги. Он сказал, что кто-то хочет со мной говорить и что пришедший, по-видимому, очень спешит.



При моем безумном состоянии опьяненья это неожиданное вторжение скорее восхитило, нежели удивило меня. Заплетающейся походкой

я вышел вон и, сделав несколько шагов, очутился в прихожей. В этой узкой и низенькой комнатке не висело ни одной лампы, и никакого другого светильника в ней не было; только слабый, чрезвычайно туманный рассвет глядел сквозь полукруглое окно. Ступив на порог, я увидал фигуру юноши приблизительно моего роста, он был одет в белый утренний костюм из кашемира, сделанный по последней моде, совершенно в таком же роде, какой был на мне. Это я мог заметить при слабом освещении, но черты его лица были мне не видны. При моем приближении он быстро устремился ко мне и, схватив меня за руку, с повелительным жестом нетерпения прошептал мне на ухо: «Вильям Вильсон!»

Хмель мгновенно вылетел у меня из головы.

В манерах пришлеца, в нервном трепете его приподнятого пальца, который он держал в пространстве между моим взглядом и мерцанием, струившимся через окно, было много чего-то, что исполнило меня безграничным изумлением; но не это чувство так сильно поразило меня. Меня поразила интонация торжественного увещания, слышавшаяся в этом тихом, необыкновенном свистящем *шепоте,* прежде всего характер, *выражение* этих простых и знакомых звуков, — они

принесли с собою целую бездну торопливых воспоминаний о прошедших днях и поразили мою душу как током гальванической батареи. Прежде чем я успел опомниться, он исчез.

Хотя это событие не преминуло оказать на мое расстроенное воображение самое сильное впечатление, однако его живость равнялась его мимолетности. В течение нескольких недель я действительно то занимался самыми ревностными исследованиями, то отдавался болезненным размышлениям. Я не пытался скрывать от себя, кто был этот странный человек, так упорно вмешивавшийся в мои дела и мучивший меня своими назойливыми советами. Но что из себя представлял этот Вильсон — и откуда он был — и каковы были его цели? Ни на один из этих вопросов я не мог ответить удовлетворительным образом. Я узнал только, что по каким-то внезапным семейным делам он должен был удалиться из школы доктора Брэнсби в послеобеденный час того самого дня, когда я бежал. Но вскоре я перестал думать об этом, и все мое внимание было поглощено планом переезда в Оксфорд. Там, благодаря безрассудному тщеславию моих родителей, доставлявших мне огромные деньги, я мог отдаваться роскоши, уже сделавшейся для меня

необходимостью, — я мог соперничать в расточительности с самыми надменными наследниками самых богатых графств Великобритании.

Искушаемый постоянной возможностью доставлять себе порочные наслаждения, мой прирожденный темперамент проявился с удвоенной стремительностью, и, в безумном ослеплении отдавшись беспутству, я порвал самые общепризнанные узы благопристойности. Но было бы нелепо останавливаться на всех моих экстравагантностях. Довольно сказать, что среди расточителей я перещеголял решительно всех, и дав наименование целому множеству новых безумств, основательно пополнил длинный список пороков, которые были тогда обычными в этом распутнейшем из европейских университетов.

Вряд ли, однако, мне поверят, когда я скажу, что я до такой степени удалился от джентльменства, что старался проникнуть во все подлые художества профессиональных картежников и, сделавшись посвященным в эту позорную науку, прибегал обыкновенно к ней как к средству увеличения и без того уже громадных доходов, на счет тех из моих сотоварищей, кто был поглупее. Но если мне и не поверят, все же это был факт;

и самая чудовищность такого издевательства над чувством достоинства и чести была, очевидно, главной, если не единственной причиной моей безнаказанности. Кто на самом деле из моих сотоварищей, самых испорченных, не стал бы скорее оспаривать очевидное свидетельство своих чувств, нежели подозревать в подобных проделках веселого, откровенного, великодушного Вильяма Вильсона — самого благородного и самого щедрого студента во всем Оксфорде — его, чьи безумства (так говорили его паразиты) были только сумасбродством молодой и необузданной фантазии — чьи заблуждения были только неподражаемыми капризами — чья порочность, самая черная, была только беззаботной блестящей эксцентричностью.

Уже прошло два года такой веселой жизни, когда в Оксфордский университет поступил молодой дворянчик, parvenu[46], некий Гленденнинг — по слухам, он был богат как Ирод Аттический[47] — причем богатство его, конечно, не причиняло ему хлопот. Вскоре я убедился,

---

[46] Примечания: 46

Выскочка (*фр.*).

[47] Примечания: 47

Ирод Аттический — римский сенатор, филантроп, блестящий оратор, благодаря богатству получил лучшее образование.

что он в достаточной степени глуп, и, конечно, наметил его как подходящий субъект, на котором мог испробовать свое уменье. Я часто приглашал его играть и по обычной шулерской уловке заставлял его выигрывать значительные суммы, чтобы тем действительнее завлечь его в сети. Наконец, когда мой план созрел, я встретился с ним (с твердым намерением, чтобы эта встреча была окончательной) в квартире одного из товарищей-студентов (мистера Престона), одинаково близкого с нами обоими и, нужно отдать справедливость, не питавшего ни малейшего подозрения относительно моего намерения. С целью придать всему лучший вид, я позаботился, чтобы было приглашено еще несколько товарищей, человек восемь — десять, и самым тщательным образом подвел все так, что карты появились как бы случайно и не по моему желанию, а по желанию моей намеченной жертвы. Но не буду вдаваться во все эти гнусные подробности; не было, конечно, упущено ни одного из тех подлых ухищрений, которые настолько обычны в подобных случаях, что нужно положительно удивляться, каким образом еще находятся лица, до такой степени одуревшие, чтобы быть их жертвами.

Наша игра затянулась далеко за полночь, когда

я наконец прибег к своему маневру и избрал Гленденнинга своим единственным соперником. Это была моя излюбленная игра, écarté[48]. Вся остальная публика заинтересовавшись крупным характером нашей игры, оставила свои карты и окружила нас. Наш parvenu, которого в первую половину вечера я искусно заставлял пить в основательных дозах, мешал, сдавал и играл с страшной нервностью в манерах, и мне казалось, что такая возбужденность не могла быть вполне объяснена одним опьянением. В очень короткий промежуток времени он сделался моим должником на крупную сумму — затем, глотнув хорошую дозу портвейна, он сделал то, на что я хладнокровно рассчитывал, — предложил удвоить и без того уже экстравагантные ставки. Я стал упорно отнекиваться и, наконец, согласился с видимой неохотой, после того как мой неоднократный отказ заставил Гленденнинга сказать мне несколько колкостей, придававших моей уступчивости вид оскорбленный. Результат, конечно, только доказал, насколько жертва запуталась в мои сети: менее чем за час он учетверил свой долг. С некоторого времени его физиономия

[48] Примечания: 48
Экарте — старинная азартная карточная игра.

утратила красноту, вызванную вином, но теперь я заметил, к своему изумлению, что лицо его покрылось бледностью поистине страшной. Я говорю: к моему изумлению, потому что относительно Гленденнинга я произвел самые точные расследования, и мне его представили исключительным богачом; суммы, которые он потерял, как ни велики они были сами по себе, все же не могли, вероятно, особенно тревожить его, тем более — подействовать на него так сильно. Я тотчас же подумал, что ему бросилось в голову вино, которое он только что выпил, и скорее с целью сохранить репутацию в глазах товарищей, нежели по мотивам более бескорыстным, хотел решительно настаивать на прекращении игры, как вдруг несколько слов, произнесенных около меня кем-то из присутствующих, и восклицание, вырвавшееся у Гленденнинга и свидетельствовавшее о крайнем отчаянии, дали мне понять, что я окончательно разорил его, при таких обстоятельствах, что они привлекли к нему сострадание всех и должны были предохранить его даже от козней дьявола.

Мне трудно сказать, как я мог поступить в подобном положении. Жалкое состояние моей жертвы исполнило всех чувством угрюмой

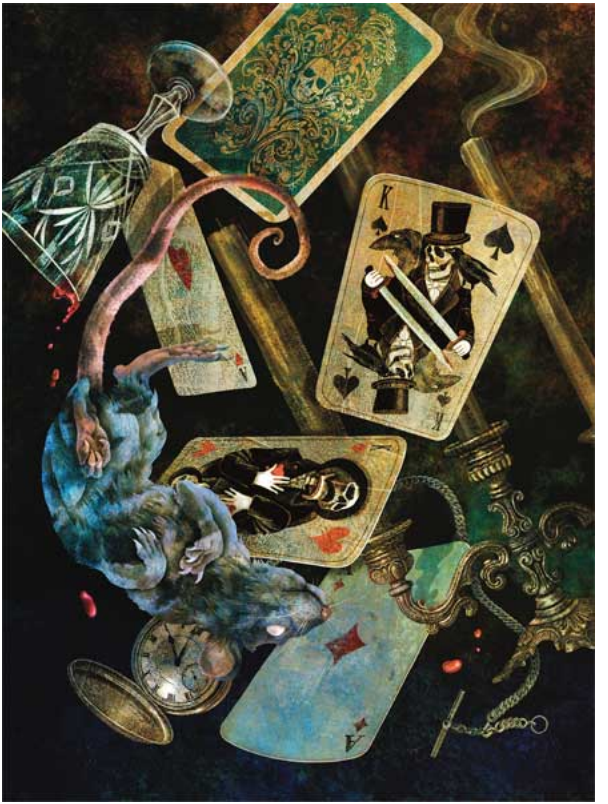
неловкости, и в течение нескольких секунд царило глубокое молчание, причем я не мог не чувствовать, что щеки мои подергивались под пристальными, полными презрения взглядами, которые на меня устремляли наименее погибшие из игроков. Я должен даже признаться, что с моего сердца спала невыносимая тяжесть, когда через мгновение последовало чье-то внезапное и необыкновенное вторжение. Тяжелые громадные створчатые двери распахнулись сразу с громким и сильным взмахом, благодаря чему, точно силой колдовства, потухли все свечи в комнате. Их свет, умирая, дал нам только возможность заметить, что вошел какой-то незнакомец приблизительно моего роста, плотно закутанный в плащ. Однако теперь кругом было совершенно темно, и мы могли только *чувствовать*, что он стоит посреди нас. Прежде чем кто-либо из присутствовавших успел опомниться от крайнего изумления, охватившего нас всех вследствие грубости такого вторжения, мы услышали голос незваного гостя.

— Джентльмены, — заговорил он тихим явственным и незабвенным *шепотом*, от которого кровь застыла в моих жилах, — джентльмены, я не буду стараться оправдать свой поступок, потому что, поступая так, я только исполняю

свою обязанность. Вы, без сомнения, не осведомлены относительно истинного характера того господина, который сегодня ночью выиграл в écarté значительную сумму денег у лорда Гленденнинга. Поэтому я предложу вам точное и решительное средство получить эти необходимые сведения. Не угодно ли вам будет осмотреть внимательно подкладку на обшлагах его левого рукава, а также несколько маленьких пачек: они могут быть найдены в несколько широковатых карманах его вышитой тужурки.

Пока он говорил, тишина была такая глубокая, что можно было бы услышать падение булавки на пол. Договорив последнюю фразу, он удалился так же быстро, как и пришел. Описывать ли мне ощущения, охватившие меня, — могу ли я их описать? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы осужденного? Конечно, у меня не было времени для размышления. Несколько рук грубо схватили меня, были тотчас же зажжены свечи, меня обыскали. В обшлаге моего рукава были найдены все карточные фигуры, от которых зависит исход игры в écarté, а в карманах тужурки было найдено несколько колод карт совершенно таких же, какими мы всегда играли, с той только разницей, что мои карты на техническом языке

назывались *закругленными:* хорошие карты в таких колодах слегка вогнуты на нижних концах, плохие слегка вогнуты по бокам. Благодаря этому тот, кого обыгрывают, снимая обыкновенно вдоль колоды, неизменно снимает в пользу своего противника, в то время как шулер, снимая поперек, никогда не даст своей жертве такой карты, которая могла бы ему послужить на пользу.



Взрыв негодования поразил бы меня гораздо меньше, чем безмолвное презрение и саркастические улыбки, появившиеся на всех лицах.

— Мистер Вильсон, — сказал наш хозяин, наклоняясь, чтобы поднять непомерно дорогой плащ, подбитый самым редкостным мехом, — мистер Вильсон, это ваша собственность.

Погода стояла холодная и, выходя из дому, я набросил плащ поверх домашнего костюма, а придя сюда, снял его.

— Я думаю, что было бы излишне искать здесь, — тут он с горькой улыбкой посмотрел на складки моего костюма, — каких-нибудь дальнейших доказательств вашей необыкновенной ловкости. Действительно, у нас их совершенно достаточно. Надеюсь, вы видите необходимость оставить Оксфорд — во всяком случае, немедленно оставить мою квартиру.

Будучи унижен и втоптан в грязь, я, вероятно, тотчас же отплатил бы за эти оскорбительные слова личным оскорблением, если бы все мое внимание не было поглощено в эту минуту фактом самым поразительным. Мой плащ был подбит редкостным мехом, не смею даже сказать, каким безумно редким и дорогим. Его фасон, кроме того, был изобретением моей собственной фантазии, так как моя прихотливость во всех этих пустяках щегольства доходила до абсурда. Когда поэтому мистер Престон подал мне плащ,

подобранный на полу около створчатых дверей, я был охвачен изумлением, граничившим с чувством ужаса, заметив, что мой плащ уже был на мне (я, конечно, машинально его набросил на себя) и что плащ, который был мне предложен, являлся совершенным двойником моего во всех, даже мельчайших деталях. Странное существо, что так зловеще выдало меня, было закутано в плащ; это я хорошо помню, и никто, кроме меня, из членов нашего общества не имел обыкновения носить плащ. Сохраняя еще некоторое присутствие духа, я взял из рук Престона плащ и незаметно ни для кого накинул его на свой; затем, выйдя из комнаты с угрожающим лицом, я на следующее же утро, прежде чем забрезжил день, предпринял бешеное бегство из Оксфорда к континенту, умирая от ужаса и стыда.

Я *убегал напрасно.* Злой рок, точно торжествуя, преследовал меня и действительно доказал мне, что его таинственное владычество только что началось. Едва только я приехал в Париж, как получил новое доказательство ненавистного интереса, с которым относился ко мне Вильсон. Шли годы, а я не имел ни минуты отдыха. Негодяй! Когда я был в Риме, как несвоевременно, как назойливо встал он темным призраком меж-

ду мной и моим честолюбием — а в Вене — а в Берлине — а в Москве — где же у меня не было горьких причин проклинать его всем сердцем? Объятый паническим ужасом, я бежал, наконец, от его непостижимой тирании, как от чумы. Но, достигая пределов земли, *я убегал напрасно.*

И опять, и опять, вопрошая тайком свою душу, я восклицал: «Кто же он? Откуда он? И каковы его цели?» Но ответа не находил. Я начинал с самым тщательным вниманием исследовать приемы, метод и отличительные черты его наглого высматривания. Но даже и в этой области у меня было слишком мало данных, чтобы строить догадки. Поистине удивительно было, что во всех многочисленных случаях, когда он становился мне поперек дороги, он становился только для того, чтобы разрушить планы, которые, будучи приведены в исполнение, могли бы кончиться только чем-нибудь злостным. Плохое утешение для темперамента такого властолюбивого! Скудное вознаграждение за поруганные права свободного выбора, поруганные так нагло и с таким упорством!

Мне пришлось также заметить, что мой учитель в течение долгого периода времени (между тем как он самым тщательным образом и с самой

удивительной ловкостью продолжал осуществлять свое капризное желание и постоянно имел одинаковую со мною наружность) устраивал всегда так, что каждый раз, когда он вмешивался в мои желания, я не мог заметить отдельных черт его лица. Что бы из себя ни представлял Вильсон, конечно, это было не чем иным, как верхом аффектациии или дурачества. Разве он мог хотя на минуту предполагать, что я ошибался насчет личности того, кто в Итоне давал мне непрошеные советы, в Оксфорде запятнал мою честь, в Риме был помехой моему честолюбию, в Париже — моей мести, в Неаполе — моей страстной любви, в Египте — тому, что он лживо назвал моим скряжничеством? Мог ли он сомневаться, что я узнаю в нем моего закоренелого врага и злого гения, Вильяма Вильсона моих школьных дней — тезку, товарища, соперника — ненавистного и страшного соперника в заведении доктора Брэнсби? Не может быть! Но я хочу поскорей рассказать последнюю достопримечательную сцену всей драмы.

До сих пор я лениво подчинялся этому деспотическому владычеству. Чувство глубокого почтения, с которым я привык относиться к возвышенному характеру, к величественной

мудрости, к видимой вездесущности и всезнанию Вильсона в соединении с чувством страха, внушенного мне некоторыми другими его чертами и притязаниями, навязало мне мысль о моей полной слабости и беспомощности и заставило меня всецело подчиняться его произволу, хотя и с чувством горестного отвращения. Но за последнее время я всецело отдался вину, и его умопомрачающее влияние, сочетавшись с моим наследственным темпераментом, все более и более наполняло меня нетерпением против надзора. Я начал роптать, колебаться, протестовать, и, была ли это только моя фантазия — мне показалось, что упрямство моего мучителя уменьшалось в прямом отношении с увеличением моей твердости! Как бы то ни было, я начал чувствовать воодушевление загорающейся надежды и в конце концов взлелеял в глубине души мрачную и отчаянную решимость сбросить с себя ярмо рабства.

Это было в Риме, во время карнавала 18… Я был приглашен на маскарад в палаццо неаполитанского герцога ди Брольо. Я выпил много вина, более, чем обыкновенно, и удушливая атмосфера людных комнат раздражала меня невыносимо. Кроме того, трудность пробраться через тесную

толпу в немалой степени увеличивала мою ярость; дело в том, что я озабоченно искал (не буду говорить, для каких низких целей) молодую, веселую и прекрасную супругу престарелого и безумно ее любящего ди Брольо. Со слишком большой неосмотрительностью она доверилась мне, сказав заранее, какой на ней будет костюм, и теперь, увидев ее мельком, я бешено пробивался через толпу по направлению к ней. Вдруг я почувствовал, что кто-то слегка положил руку на плечо мне, и в моих ушах раздался вечно памятный глухой и ненавистный *шепот.*

В состоянии неудержимого бешенства и ярости я быстро повернулся к тому, кто так тревожил меня, и грубо схватил его за шиворот. Как я и ожидал, он был одет совершенно так же, как и я, — на нем был испанский плащ из голубого бархата, а на ярко-красной перевязи, проходившей вокруг талии, была привешена шпага. Лицо его было совершенно закрыто черной шелковой маской.



— Негодяй! — воскликнул я голосом хриплым от бешенства, в то время как каждый слог, который я произносил, казалось, подливал мне новой желчи. — Негодяй! Мошенник! Проклятая тварь! Ты не будешь больше, *ты не посмеешь больше* преследовать меня, как собака! За мной, или я заколю тебя тут же на месте!

Я устремился из бального зала в небольшую

смежную прихожую, увлекая за собой своего врага. Он не сопротивлялся.

Войдя в прихожую, я с яростью отшвырнул его от себя. Он заковылял к стене, а я с ругательством закрыл дверь и приказал ему обнажить шпагу. Вильсон заколебался, но только на мгновение, затем с легким вздохом он вынул свою шпагу и начал защищаться.

Недолог был, однако, наш поединок. Я был раздражен, взбешен. Я чувствовал, что в одной моей руке кроется энергия и сила целой толпы. Через несколько секунд я притиснул его к стене и, таким образом держа его в полной своей власти, с жестокостью животного несколько раз проткнул ему грудь.

В эту минуту кто-то взялся за дверную ручку; я поспешил задержать вторжение, запер дверь и тотчас же вернулся к умирающему сопернику. Но какие человеческие слова могут в должной мере нарисовать *то* изумление, *тот* ужас, которые овладели мною при виде зрелища, представшего моим глазам. Краткого мгновенья было совершенно достаточно, чтобы произвести, по-видимому, крайне существенную перемену в обстановке дальнего угла комнаты. Огромное зеркало — так сперва показалось мне при моем

замешательстве — стояло теперь там, где раньше не было ничего подобного, когда я шатающейся походкой, в состоянии крайнего ужаса пошел к нему, ко мне приблизился теми же слабыми заплетающимися шагами мой двойник, мой собственный образ, но страшно бледный и забрызганный кровью.

Так мне показалось, говорю я, но не так было на деле. Это был мой соперник — это Вильсон стоял передо мною, охваченный смертной агонией. Его плащ вместе с маской валялся на полу — и не было ни одной нити во всем его костюме — не было ни одной черты во всем его лице, таком выразительном и страшном, которая не была бы моей до самого полного тождества, — *моей, моей!*

Это был Вильсон; но он больше не шептал, я мог подумать, что это я сам, а не он, говорил мне:

— Ты победил, и я уступаю. Но с этих пор ты также мертв — *мертв для Мира, для Небес и для Надежды! Во мне ты существовал и, убив меня, смотри на этот образ, который не что иное, как твой собственный — смотри, как безвозвратно, в моей смерти, ты умертвил самого себя!*



Король Чума

Чего в королях вполне потерпят боги
Того для черни вовсе не хотят.
«Трагедия Феррекса и Порррекса»
БАКХЕРСТ

Перевод Константина Бальмонта

Рассказ, содержащий аллегорию

Около двенадцати часов ночи в месяце октябре, в рыцарское царствование третьего Эдуарда, два моряка, принадлежащие к экипажу «Легковольного», торговой шхуны, крейсирующей между Слюисом и Темзой и тогда стоявшей на якоре в этой реке, были весьма изумлены, увидев себя заседающими в кабачке, уставленном пивными бочками, в приходе св. Андрея в Лондоне — каковой кабачок в виде вывески был украшен портретом «Веселого Моряка».

Помещение, хоть и дурно сколоченное, зачерненное дымом, с низким потолком, и во всех отношениях вполне согласующееся с общим характером таких мест в данный период — было, тем не менее, по мнению причудливых групп,

рассеянных в нем тут и там, вполне достаточно приспособлено для своей цели.

Из этих групп два наши моряка являли, думаю я, самую интересную, если не самую бросающуюся в глаза.

Один, по видимости старший, которого товарищ в обращении титуловал определительным прозвищем «Снасти» (Legs имеет два значения в английском языке — *ноги* и *снасти,* или, точнее, *разветвления снасти),* был в то же самое время и значительно выше ростом. Он мог быть шести футов с половиной, и обычная сутуловатость, казалось, была естественным следствием роста такого огромного. Излишества в росте, однако, были более чем возмещены недостачей в других отношениях. Он был до чрезвычайности тонок; и мог бы, как утверждали его товарищи, заменять в пьяном виде вымпел на топе у мачты, в трезвом же состоянии служить как утлегарь. Но эти шутки и другие подобные явно не оказывали ни в какое время какого-либо действия на хохочущие мускулы испытанного моряка. С выдающимися скулами, с длинным ястребиным носом, с убегающим подбородком, с отпавшею нижнею челюстью и огромными выпуклыми белыми глазами, выражение его лица, хотя и

всегда окрашенное известного рода упорным равнодушием ко всему и всем вообще, было тем не менее крайне торжественно и серьезно превыше каких-либо попыток подражания или описания.

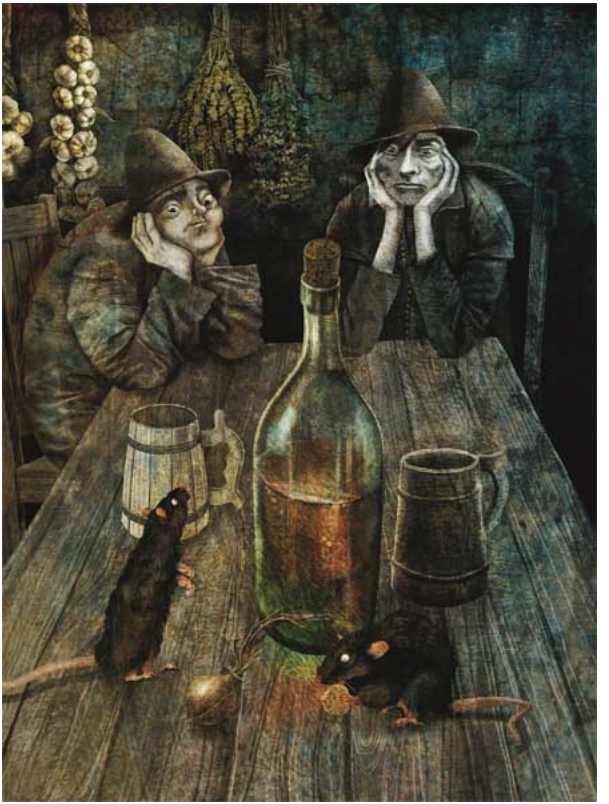
Младший моряк был во всем своем внешнем виде обратной теоремой своего товарища. Рост его не мог бы превысить четырех футов. Пара коренастых кривых ног поддерживала его увесистую неуклюжую фигуру, в то время как его необычно короткие и толстые руки, завершавшиеся кистями далеко не обыкновенными, свисали, болтаясь по его бокам, как плавники морской черепахи. Маленькие глаза, цвета неопределенного, мигали где-то далеко там сзади в его голове. Нос его пребывал схороненным в массе плоти, которая облекала его круглое, полное и пурпурное лицо; и толстая верхняя его губа покоилась на еще более толстой нижней с видом благосклонного самоудовлетворения, еще более усиливавшегося привычкою собственника время от времени их облизывать. Видимо, он смотрел на своего высокого корабельного товарища, наполовину дивясь, наполовину насмешливо и смотря иногда прямо на его лицо, как красное заходящее солнце смотрит на утесы Бен Невиса.

Многоразличны и полны событий были, од-

нако, блуждания этой почтенной четы вокруг и около разных кабачков по соседству в более ранние часы вечера. Фонды, даже и самые обширные, но неисчерпаемы; и с карманами вовсе пустыми друзья наши рискнули заглянуть в данную харчевню.

Итак, в тот самый период в точности, когда собственно начинается эта история, Снасти и товарищ его Хью Брезент сидели, каждый опершись обоими локтями о широкий дубовый стол, находившийся посредине комнаты, и подпирая ладонями ту и другую щеку. Из-за огромной бутыли неоплаченного «шипучего вещества» *(пенистый эль)* они глазели на зловещие слова «Мела Нет» *(т. е. в кредит не дают),* которые к их негодованию и удивлению были начертаны над входом с помощью того самого минерала, присутствие коего они пытались отрицать. Не то чтобы дар расшифровки письменных знаков — считавшийся среди простонародья того времени даром несколько менее кабалистическим, нежели искусство их составления — мог быть, по строгой справедливости, поставлен на счет тому и другому воспитаннику моря; но, сказать по правде, был некий изгиб в начертании букв — было во всем, в них, некое неописуемое качанье

судна, в волнение хлебающего воду, — которое предвещало по мнению обоих моряков долгий ток скверной погоды и сразу исполнило их решимостью, по аллегорическим словам самого знатока, чье имя было Снасти, ринуться «к помпам», поднять паруса и убегать от ветра.



Распорядившись, соответственно, с тем, что оставалось еще в бутыли, и застегнув хорошенько короткие свои куртки, они стрелою вылетели на

улицу. Правда, Брезент дважды вкатился в очаг, ошибкою приняв его за дверь, все же ускользание их, наконец, счастливо осуществилось — и в половину первого ночи герои наши, вполне созрев для злодеяния, бежали, спасая свою жизнь, через темный переулок по направлению к лестнице св. Андрея, преследуемые по горячим следам владетельницей «Веселого Моряка».

В эпоху этого обильного событиями рассказа и периодически в течение целого ряда лет до и после вся Англия, в особенности же ее столица, была полна отзвуков страшного крика «Чума!». Город в значительной мере обезлюдел — и в этих ужасающих областях по соседству с Темзой, где среди темных, узких и грязных уличек и закоулков, как предполагали, имел свое месторождение Демон Недуга, разгуливали только Страх, Ужас и Суеверие.

Повелением и властью короля такие местности были преданы опале, и кому бы то ни было под страхом смерти было возбранено проникать в их зловещее уединение. Но ни повеление монарха, ни огромные загородки, воздвигнутые при входе на улицы, ни предвкушение той омерзительной смерти, которая с почти безусловной достоверностью захватывала злосчастного, ко-

торого никакая опасность не могла удержать от приключения, не предохраняли разгромленные и необитаемые жилища от ночного грабежа, чья алчная рука тащила из них железо, медь, свинец, словом все, что способно стать предметом доходности.

Более всего, при зимнем открытии загородок находили обычно, что замки, засовы и тайные погреба оказывали лишь слабую защиту этим богатым запасам вин и крепких напитков, которые, ввиду риска и трудности их перевозки, многие из виноторговцев, весьма численных, имея лавки по соседству, соглашались доверить на время изгнания столь недостаточной безопасности.

Но мало кто среди пораженного ужасом народа приписывал эти деяния вмешательству человеческих рук. Духи Чумы, бесы поветрия и дьяволы лихорадки были в народном представлении демонскими пособниками злого дела, и каждый час в народе рассказывали такие леденящие кровь в жилах рассказы, что вся громада запретных зданий была, наконец, окутана страхом как саваном, и сам грабитель нередко бежал прочь, напугнутый ужасами, которые он же создал собственными грабительствами, предоставляя весь обширный округ запретной местности мраку,

молчанию, заразе и смерти.

Именно одной из таких устрашающих уже упомянутых загородок, указывающих область, находящуюся под чумной опалой, Снасти и достойный Хью Брезент, чуть не на четвереньках сбегавшие вниз по уличке, увидели себя внезапно задержанными в своем беге. О возвращении назад не могло быть речи, и нельзя было терять ни минуты, ибо преследователи гнались за ними по пятам. Для бывалых моряков вскарабкаться на грубо сколоченную загородку из досок было делом пустяшным; и, обезумев от двойного возбуждения, — гимнастического упражнения и поглощенных напитков — они без колебания прыгнули вниз по ту сторону загородки и, продолжая свой пьяный бег с криками и воплями, вскоре потерялись в этих нездоровых и запутанных уединениях.

Если бы они, на деле, не были опьянены до потери морального чувства, их неверные шаги были бы парализованы ужасами их настоящего положения. Воздух был холодный и туманный. Камни мостовой, расшатавшиеся на своих местах, лежали в диком беспорядке среди высокой густой травы, в которой их ноги тонули до щиколоток. Рушившиеся дома загромождали улицы.

Везде господствовали самые зловонные и ядовитые запахи; и при помощи того призрачного света, который даже в полночь всегда выделяется из чадной заразной атмосферы, можно было бы различить лежащие в уличках и закоулках или гниющие в безоконных зданиях трупы не одного ночного грабителя, захваченного рукою Чумы в самый миг свершения грабежа.

Но это было не во власти таких образов, ощущений или препятствий задержать бег людей, которые, будучи по природе храбрыми, а в это время особливо полные до краев смелостью и «шипучим веществом», покатились бы так прямо, как только позволило бы их состояние, с полной бесстрашностью в самую пасть Смерти. Вперед — все вперед шагал угрюмый Снасти, будя в торжественной пустынности звуки и переклички эха дикими воплями, подобными устрашающим бранным вскрикам индейцев: и вперед, все вперед катился приземистый Брезент, держась за куртку своего более деятельного товарища и далеко превосходя отважнейшие достижения этого последнего в области вокальной музыки бычачьим басовым ревом, вылетавшим из глубины его могучих легких.

Видимо, они прибыли к главному оплоту за-

разы. Дорога при каждом шаге их становилась все более зловонной и ужасной — пути были все более узки и запутаны. Огромные камни и балки, падавшие поминутно с разрушающихся кровель над ними, свидетельствовали угрюмым и тяжелым своим нисхождением об обширной высоте окружающих домов; и, в то время как самое деятельное усилие становилось необходимым, чтобы проложить проход сквозь частые груды мусора, отнюдь нередко рука их падала на скелет или покоилась на более мягком мертвом теле.

Вдруг, когда моряки споткнулись о порог высокого здания, похожего на громадное привидение, на более чем обычный пронзительный вопль, вырвавшийся из глотки возбужденного Снасти, последовал ответ изнутри, в виде быстрой смены диких, похожих на хохот, дьявольских криков. Нимало не устрашенные звуками, которые, будучи такого рода, и в такое время, и в таком месте, могли сгустить самую кровь в сердцах не столь безвозвратно преданных пламени, пьяная парочка очертя голову кинулась к двери, взломала ее и ринулась в средоточие вещей с целым залпом проклятий.

Комната, в которой они очутились, оказалась лавкой гробовщика — предпринимателя похо-

ронных процессий; но через открытую опускную дверь на полу, в углу около входа, виднелся длинный ряд винных погребов, глубь коих, как свидетельствовал о том звук случайно разбившихся бутылок, была хорошо снабжена соответствующим материалом. Посредине комнаты стоял стол — в центре стола возвышался огромный жбан того, что казалось пуншем. На столе в изобилии были рассеяны бутылки с различными винами и крепкими напитками, а равно кружки, кувшины и бутыли всяческой формы и разного качества. Вокруг стола, на гробовых станках, сидела вшестером некая компания. Эту компанию я постараюсь описать, каждого по очереди.

Против входной двери и несколько возвышаясь над своими сотоварищами, восседала фигура, каковая по видимости была председателем праздника. Эта особа была худощава и высока, и Снасти был смущен, увидя фигуру еще более отощалую, чем он сам. Лицо председателя было желто, как шафран — но ничего в нем, кроме одной черты, не было достаточно примечательно, чтобы заслужить подробное описание. Этой одной чертой являлся лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что имел он вид колпака или короны из плоти, данной в прибавку к естественной голове.

Рот его был собран в складки и играл ямочками в выражении чудовищной любезности, и глаза его, правда как и глаза всех сидевших за столом, были стекловидны от винных паров. Этот джентльмен с головы до ног был одет в богато вышитую гробовую мантию из черного шелкового бархата, небрежно наброшенную вокруг его тела наподобие испанского плаща. Голова его вся была утыкана черными перьями из гробового султана, он ими покачивал из стороны в сторону с веселым и понимающим видом; а в правой руке своей он держал огромную человеческую берцовую кость, которою, как кажется, он только что легонько ударил кого-то из сочленов общества, дабы принудить к песне.



Напротив него и спиною к двери сидела дама, свойства ничуть не менее чрезвычайного. Хотя совершенно такого же высокого роста, как особа

только что описанная, она не имела права жаловаться на неестественную худобу. Она была, очевидно, в последнем градусе водянки; фигура ее весьма походила на огромный бочонок октябрьского пива, который стоял совсем около нее, с вдавленным верхом, в углу комнаты.

Лицо ее было необыкновенно кругло, красно и полно; и та же самая особенность или, вернее, отсутствие особенности, сочеталась с ее наружностью, как и в ранее описанном случае с председателем, то есть лишь одна черта ее лица была достаточно отличительна, чтобы нуждаться в особой характеристике: правду сказать, островидящий Брезент немедленно заметил, что то же самое замечание могло бы быть применено к каждой отдельной особе, принадлежавшей к данной компании; каждый в ней, казалось, имел монополию на какую-нибудь отдельную часть физиономии. Что касается упомянутой дамы, ее частью был рот. Начинаясь у правого уха ужасающей расщелиной, он соскользнул до левого — короткие серьги, которые она носила в каждом ухе, болтаясь, беспрерывно попадали в отверстие. Она, однако, делала всяческие усилия держать свой рот закрытым и соблюдала достойный вид, будучи одета в свеженакрахмаленный

и выутюженный саван, подпиравший ее под подбородком, с гофрированными рукавчиками из батистовой кисеи.

По правую ее руку сидела маленькая-премаленькая дама, которой она, по-видимому, покровительствовала. Это деликатное созданьице дрожанием своих исхудалых пальцев, синим цветом своих губ и легким лихорадочным румянцем, который пятнами окрашивал ее, вообще говоря, свинцового цвета лицо, давало явные указания на галопирующую чахотку. Вся ее наружность, однако, была проникнута весьма высоким тоном; с грациозностью и совершенною непринужденностью она была одета в широкие и красивые смертные пелены из тончайшего индийского линобатиста; волосы ее колечками упадали на ее шею; мягкая улыбка играла вокруг ее рта; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, извилистый, гибкий и угреватый, свисал вниз гораздо ниже ее нижней губы и, несмотря на деликатную манеру, с которою она время от времени отодвигала его языком то в одну сторону, то в другую, при давал ее лицу несколько двусмысленное выражение.

Насупротив нее и по левую сторону от дамы в водянке сидел одутловатый, сопящий и подагрический старый человечек, щеки коего покоились

на плечах их обладателя, как два огромные меха с портвейном. Со своими сложенными руками и с одной ногой, обвязанной бандажами и лежащей на столе, он, казалось, считал себя имеющим права на некоторое к нему внимание. Он явно гордился, и превесьма, каждым дюймом свой наружности, но совершенно особенно услаждался тем, что обращал внимание на свой пестроцветный сюртук. Этот последний, правду говоря, должен был стоить ему немалых денег и сделан был так, что должен был идти к нему чрезвычайно — материалом для него послужил один из тех любопытно вышитых шелковых чехлов, что принадлежат славным гербам, которые, в Англии и других местах, обычно вывешивают где-нибудь на виду на жилищах отбывшей аристократии.

Рядом с ним и по правую руку от председателя находился джентльмен в длинных белых чулках и в кальсонах из бумажной материи. Все тело его содрогалось смешным образом от приступов того, что Брезент назвал «ужасами» *(белая горячка).* Челюсти его, свежевыбритые, были туго подвязаны кисейным бандажом; и руки его, будучи подобным же образом закреплены в кистях, возбраняли ему слишком свободное пользование напитками, находившимися на

столе, — предосторожность, сделавшаяся по мнению длинноногого Снасти необходимой, в виду глупо-пьяного оттенка лица его, оголтелого лица пропойцы. Два волшебно-огромные уха, которые, без сомнения, невозможно было подвергнуть заключению, возвышались, тем не менее, вздымаясь в воздухе комнаты, и время от времени сжимались в спазме при звуке откупориваемой бутылки.

Против него, шестой и последний, помещался некий персонаж, имевший совсем особенный окоченелый вид; будучи поражен параличом, он должен был, говоря серьезно, чувствовать себя очень не по себе в своих весьма несговорчивых одеяниях. Одет он был в некотором роде единственно и несравненно, в новый красивый красного дерева гроб. Верхушка гроба, или шлем, жалась к его черепу и простиралась над ним наподобие клобука, придавая лицу в его целостности вид неописуемой интересности. Прорези для рук были сделаны по бокам, в целях не столько элегантности, сколько удобства, но одежда, тем не менее, возбраняла ее собственнику сидеть так прямо, как его сотоварищи; и в то время как он лежал, откинувшись на своем гробовом станке под углом в сорок пять градусов, пара огромных

выпученных глаз вращала и устремляла свои чудовищные белки по направлению к потолку в абсолютном изумлении на свою собственную огромность.

Перед каждым из компании лежала доля черепа, которою он пользовался как заздравною чаркой. Над головами висел человеческий скелет, он подвешен был на веревке, обмотанной вокруг одной из его ног и прикрепленной к кольцу в потолке. Другая нога, не ограниченная такою оковой, отступала от тела под прямым углом, заставляя весь качающийся и потрескивающий остов, красуясь, болтаться и делать пируэты по прихоти каждого дуновения ветра, проникавшего в комнату. В черепе этого отвратительного создания было некоторое количество раскаленного древесного угля, бросавшего колеблющийся, но яркий свет на всю сцену; между тем как гробы и другие товары, принадлежавшие к лавке гробовщика-предпринимателя похоронных процессий, были высоко нагромождены кругом в комнате и против окон, не дозволяя ни одному проблеску ускользнуть на улицу.

При виде такой экстраординарной ассамблеи и уборов, еще более чем экстраординарных, два наших моряка не явили в своем поведении той

степени декорума, какой можно было бы от них ожидать. Длинноногий Снасти, прислонившись к стене, около которой он случайно находился, уронил свою нижнюю челюсть ниже обыкновенного и расширил свои глаза до полного их объема, между тем как Хью Брезент, наклонившись настолько, что нос его был на уровне со столом, и распространивши ладони обеих своих рук на коленях, разразился долгим, громким и горланящим ревом весьма несвоевременного и неумеренного хохота.

Не принимая, однако же, за оскорбление поведение столь чрезмерно грубое, высокий председатель улыбнулся непрошеным гостям весьма милостиво — с большим достоинством кивнул им головой, увенчанной черными перьями, — и, встав с места, взял того и другого за руку и подвел каждого к сиденью, каковое тем временем кое-кто другой из компании приготовил для них. Длинноногий Снасти не оказал на все это ни малейшего противодействия, но сел, куда ему было указано; между тем галантный Хью, отодвинув свой гробовой станок от главного конца стола поближе к маленькой чахоточной даме в саване, шлепнулся около нее в великом веселье и, угостив себя черепом красного вина,

выпил его в честь ближайшего знакомства. Но при таком притязании окоченелый господин в гробу явил себя чрезвычайно раздосадованным; и серьезные могли бы произойти последствия, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек всеобщего внимания к следующей речи:



— Приличествует долгу нашему при настоящем счастливом случае…

— Стоп, — прервал его Снасти с весьма серьез-

ным видом, — стоп, погоди-ка, мол, немножко и скажи, что вы тут все за дьяволы и что вы тут делаете, разрядившись, как бесы нечистые, и лакая тут бессловесную синюю погибель, сложенную впрок на зиму честным моим корабельным товарищем, Виллем Вимбли, гробовщиком Коловоротом!

При таком непростительном образце дурного воспитания вся оригинальная компания привскочила на ноги и испустила стремительную череду диких демонских криков, которая раньше привлекла к себе внимание моряков. Председатель, однако, первый овладел своим спокойствием и, наконец, обращаясь к длинноногому Снасти с большим достоинством, снова начал:

— Вполне охотно мы удовлетворим всякое разумное любопытство, выказанное гостями столь высокими, хотя бы и явившимися без приглашения. Знайте же, что в этих владениях я монарх и правлю здесь нераздельною властью, нося титул Король Чума Первый.

Эти апартаменты, которые вы весьма нечестиво считаете лавкою Коловорота-гробовщика, — человека, коего мы не знаем, чье плебейское имя никогда до этой ночи не оскорбляло наших царственных ушей, — эти апартаменты, говорю

я, Тронный зал нашего Дворца, посвященный заседаниям Совета нашего королевства и другим священным и возвышенным целям.

Благородная дама, что сидит насупротив, есть Королева Чума, наша Светлейшая Супруга. Другие высокие особы, коих вы видите, — все из нашей фамилии и носят знаки отличия королевской своей крови, имея соответствующие титулы — Его Светлость Эрцгерцог Чумоносный — Его Светлость Герцог Чумозаразный — Его Светлость Герцог Вихречума и Ее Светлейшее Высочество Эрцгерцогиня Троескок-Чума.

Что касается, — продолжал он, — вашего вопроса, по какому делу мы заседаем здесь в совете, мы могли бы быть извинены, ответив, что оно касается, и лишь касается нашего собственного частного и царственного интереса, и никоим образом не может быть важно для кого-либо другого, кроме нас. Но, во внимание к тем правам, на которые, как гости и чужеземцы, вы можете притязать, мы имеем изъяснить, что мы находимся здесь в эту ночь, подготовленные глубоким исследованием и точным рассмотрением, для испробования, подробного разбора и исчерпывающего определения неопределимого духа — непостижимых свойств и природы — этих

неоцененных сокровищ вкусовой области, вин, пива и крепких напитков этой счастливой столицы: дабы, так сделав, не столько двинуть вперед наши собственные замыслы, сколько содействовать истинному благополучию того неземного владыки, коего царство над нами всеми, чьи владения суть безграничны и чье имя есть Смерть.

— Чье имя есть Деви Джонс! — возопил Брезент, наливая даме, бывшей с ним рядом, полный череп вина и наполняя другой для себя.

— Низкий плут! — сказал председатель, обращая теперь свое внимание на достойного Хью. — Низкий и отвратительный отверженец! Мы сказали, что во внимание к тем правам, которые даже в твоей грязной личности мы не чувствуем никакой склонности нарушать, мы снизошли до ответа на твои грубые и несвоевременные расспросы. Мы, тем не менее, ввиду непрошеного и навязчивого вторжения на заседание нашего Совета почитаем нашею обязанностью наложить пеню на тебя и на твоего товарища, на каждого в размере трех штофов Черной Браги — каковые должны вы выпить в честь нашего королевства — единым духом — и коленопреклоненные — а засим вы свободны или продолжать вашу дорогу или оставаться и быть допущенными к

привилегиям нашего стола, согласно с вашим соответственным и личным благоусмотрением.

— Это было бы вещью крайней невозможности, — ответил длинноногий Снасти, которому важные манеры и достоинство Короля Чумы Первого, видимо, внушили некоторое чувство уважения и который встал и оперся о стол, пока он говорил, — это было бы, с позволения вашего величества, вещью крайней невозможности нагрузить в мой трюм даже и четвертую часть той жидкости, которую ваше величество только что упомянуло. Ничего уже не говоря о том материале, что помещен был на борт в полдень в качестве балласта, и не упоминая о различных видах эля и крепких напитков, нагруженных сегодня вечером в различных портах, я в настоящее время взял полный груз «шипучего вещества», принятого и должным образом оплаченного под вывеской «Веселый Моряк». Да соизволит поэтому ваше величество быть столь добрым и принять добрую волю за деяние — ибо никоим и никаким образом не могу я и не хочу проглотить еще хоть одну каплю — менее же всего хоть каплю этой мерзкой грязной влаги, наполняющей подводную часть судна и вполне соответствующей зову «Черная Брага».

— Закрепи-ка глотку, — прервал его Брезент, не менее удивленный длительностью речи своего товарища, нежели самым свойством его отказа, — закрой-ка, моряк пресной воды — говорю тебе, Снасти, будет твоей болтовни. Мой кузов еще налегке, хоть у тебя, признаюсь, перевес на верхней части; а что до твоей доли в грузе, чего же там, — чем поднимать шквал, я лучше найду чулан для нагрузки у себя, но только…

— Такой прием, — вмешался председатель, — отнюдь не согласуется с термином пеня или приговор, каковой по природе своей непреложен, как мидийский закон, и не может быть ни изменен, ни отменен. Условия, нами на вас наложенные, должны быть выполнены буквально, и это без малейшего промедления, — в случае же несвершения их мы постановляем, что, связанные шея и пятки вместе, вы должным образом будете потоплены как бунтовщики в той бочке октябрьского пива.

— Приговор! Приговор! Справедливый приговор, правый — великолепное постановление! Самое достойное, прямое и святое осуждение! — завопила вся Чумная фамилия. Король подъял свой лоб, сложив его в бесчисленные складки; подагрический господинчик сопел, как пара

мехов; госпожа в саване повивала своим носом из стороны в сторону; джентльмен в бумажных кальсонах сжимал свои уши и подергивал ими; женщина в смертных пеленах глотала воздух, как умирающая рыба; а гробовой человек глядел оцепенело и катал свои глаза.

— Хи-хи-хи! — хихикал Брезент, не обращая внимания на всеобщее возбуждение. — Хи-хи-хи-хи! Я говорил, — сказал он, — я говорил, когда сей сударь Король Чума поднял свой трезвон, что три штофа или шесть штофов Черной Браги больше или меньше, это сущие пустяки для неподверженного течи морского судна, вроде меня, ежели оно не перегружено, — но, раз дело идет о том, чтобы пить за здоровье дьявола (с которого да снимет Бог проклятие), и чтобы на моих костях с мозгом ползать перед тем сквернорожим величеством, который, — что я знаю так же хорошо, как то, что я грешный человек, — есть не что иное, как Тим Херлигерли, суматошный комедиант, — это уже, пардон, дело будет совсем другого рода, и этого уже разуму моему никак не постичь и не уразуметь.

Ему не было даровано окончить свою речь в спокойствии. При имени «Тим Херлигерли суматошный» вся ассамблея повскакала со своих

мест.

— Измена! — воскликнуло Его Величество Король Чума Первый.

— Измена! — сказал человечек с подагрой.

— Измена! — завизжала Эрцгерцогиня Троескок-Чума.

— Измена! — пробормотал господин с подвязанными челюстями.

— Измена! — прорычал гробовой человек.

— Измена! Измена! — прокричала Ее Величество Пасть; и, схватив злополучного Брезента за заднюю часть его брюк, меж тем как он только что начал наливать себе череп вина, она подняла его высоко на воздух и без дальнейших церемоний предоставила ему упасть в огромный открытый бочонок его любимого эля. Поболтавшись несколько секунд вверх и вниз, как яблоко в чаше с грогом, он, наконец, совершенно исчез среди водоворота пены, которую в уже шипучей жидкости быстро создали его усилия высвободиться.

Не с кроткой покорностью, однако, узрел высокорослый моряк поражение своего товарища. Сошвырнув толчком Короля Чуму в открытый трап, доблестный Снасти с божбою захлопнул за ним дверь и шагнул к середине комнаты. Здесь, сорвав скелет, висевший над столом, он начал

размахивать им вокруг себя с такою энергией и с таким проявлением доброй воли, что, в то время как в комнате умирали последние вспышки света, ему удалось выбить мозги из малого господина с подагрой. Ринувшись тогда со всею своею силой на фатальный бочонок, наполненный октябрьским пивом и Хью Брезентом, он покатил его во мгновение кувырком. Оттуда вырвался потоп жидкости такой яростный — такой порывистый — такой захватывающий — что вся комната была залита от стены до стены — загроможденный стол был опрокинут — гробы рушились — жбан с пуншем упал в очаг, а дамы в истерику. Нагромождения предметов, надлежащих до похорон, бились и барахтались кругом. Кружки, кувшины и сосуды с едкими жидкостями смешались в безразборной свалке, а бутылки, овитые ивовым прутом, отчаянно сталкивались с бутылями из толстого стекла. Человек ужасов был потоплен на месте, окоченелый господинчик дрейфовал в своем гробу — а победоносный Снасти, схватив за талию жирную даму в саване, ринулся с нею на улицу и направился по кратчайшей линии к «Легковольному», в сопровождении шедшего не на всех парусах грозного Хью Брезента, который раза три-четыре чихнул, тяжело дышал и пыхтел,

влача за собою Эрцгерцогиню Троескок-Чуму.

Золотой жук

Хо! Хо! Он пляшет, как безумный!
Тарантул укусил его.
«Все ошибаются»

Перевод Константина Бальмонта

Несколько лет тому назад я сблизился с неким мистером Вильямом Леграном. Он происходил из старой гугенотской семьи и некогда был богат; но ряд злоключений привел его к нищете. Дабы избегнуть унижений, следствующих за разорением, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на острове Сэлливана, близ Чарльстона в Южной Каролине.

Остров этот весьма особенный. Почти весь он состоит из морского песку и имеет приблизительно около трех миль в длину, ширина его нигде не достигает более четверти мили. От материка он отделен еле заметной бухточкой, которая прокладывает себе путь, просачиваясь сквозь ил и глухие заросли камыша, обычное местопребывание болотных курочек. Растительность здесь, как и можно было бы предполагать, скудная или, во всяком случае, карликовая. Нет

там деревьев сколько-нибудь значительной величины. На западной окраине, там, где находится крепость Моультри и несколько жалких деревянных строений, обитаемых в течение лета беглецами из Чарльстона, укрывающимися от пыли и лихорадок, можно встретить колючую пальмочку; но весь остров, за исключением этого западного пункта и линии сурового белого побережья, покрыт густыми зарослями душистой мирты, столь ценимой английскими садоводами. Кустарник часто достигает здесь вышины пятнадцати-двадцати футов и образует поросль, почти непроницаемую и наполняющую воздух пряным своим ароматом.

В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной окраины острова, т. е. самой отдаленной, Легран собственноручно построил себе маленькую хижину, в которой он жил, когда впервые, совершенно случайно, я познакомился с ним. Это знакомство вскоре выросло в дружбу — так как, без сомнения, в этом отшельнике было что-то, что могло возбудить интерес и уважение. Я увидел, что он был хорошо воспитан, обладал необычными силами ума, но заражен был человеконенавистничеством и подвержен болезненным сменам восторга и меланхолии. У него

было с собой много книг, но он редко пользовался ими. Его главным развлечением было охотиться и ловить рыбу или бродить вдоль бухты и среди миртовых зарослей в поисках раковин и энтомологических образцов; его коллекции этих последних мог бы позавидовать всякий Сваммердамм. В этих экскурсиях его обыкновенно сопровождал старый темнокожий слуга, прозывавшийся Юпитером, который был отпущен на свободу раньше злополучного переворота в семье, но ни угрозы, ни обещания не могли заставить его отказаться от того, что он почитал своим правом — по пятам следовать всюду за своим юным «массой Виллем»[49]. Вполне вероятно, что родственники Леграна, считавшие его немного тронутым, согласились примириться с упрямством Юпитера, имея в виду оставить его как бы стражем и надсмотрщиком за беглецом. На той широте, где лежит остров Сэлливана, зимы редко бывают суровыми, и даже на исходе года это — редкое событие, что возникает необходимость топить. Однако около середины октября 18… года выдался день необычайно холодный. Перед самым закатом солнца я пробирался сквозь веч-

[49] Примечания: 49

«Massa Will», т. е. «Master William», хозяин Вильям, или господин Вильям. — *Примеч. перев.*

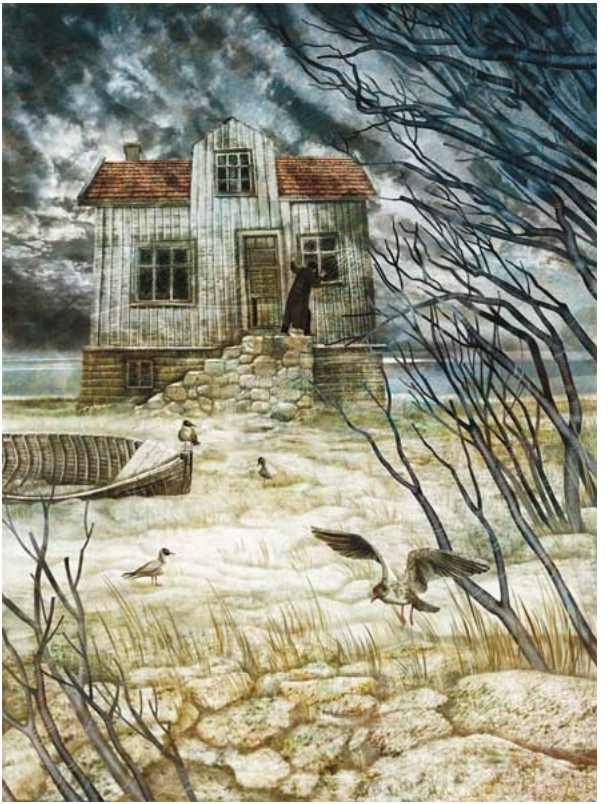
нозеленую чащу к хижине моего друга, которого не видал уже несколько недель. Я обитал в то время в Чарльстоне, в девяти милях от острова, и путь туда и обратно был сопряжен с меньшими удобствами, чем в настоящее время. Подойдя к хижине, я постучался, как обыкновенно, и, не получая ответа, стал искать ключ там, где, как я знал, он был спрятан, потом отпер дверь и вошел. Яркий огонь пылал в очаге. Это было неожиданностью и отнюдь не неприятной. Я сбросил пальто, придвинул кресло к потрескивающим дровам и стал терпеливо дожидаться прибытия моих хозяев.

Они пришли вскоре после наступления сумерек и встретили меня самым радушным образом. Юпитер, смеясь и раскрывая рот до ушей, хлопотал над изготовлением болотных курочек к ужину. Легран находился в одном из своих припадков, — как иначе могу я назвать это? — восторженности. Он нашел неведомую двустворчатую раковину, образующую новый род, и, еще лучше того, с помощью Юпитера он выследил и изловил жука, скарабея, который, как он утверждал, был неведом науке и о котором ему хотелось узнать мое мнение завтра.

— А почему же не сегодня вечером? — спросил

я, потирая руки перед огнем и мысленно посылая к черту всю породу жуков.

— Ах, если бы я только знал, что вы здесь! — сказал Легран. — Но так много минуло времени, как я не видал вас; разве мог я предвидеть, что из всех ночей вы выберете именно сегодняшнюю, чтобы посетить меня? Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г., из крепости, и поступил легкомысленно, одолжив ему жука; потому-то вам и не придется увидать его ранее завтрашнего утра. Оставайтесь здесь эту ночь, а я пошлю за ним Юпитера на восходе солнца. Это самое чудесное, что есть в мироздании!



— Что — восход солнца?

— Да нет же! Нонсенс! Жук! Он блестящего золотого цвета, величины приблизительно с большой

орех, с двумя черными, как смоль, пятнышками на одном конце спины, и с пятном еще побольше на другом конце. Усики у него…

— Что там усики, масса Вилль, не в усиках, доложу вам, дело, — прервал его тут Юпитер, — этот жук — золотой жук, из чистого золота, внутри и снаружи, всюду, кроме пятен на спине. Я в жизни своей не видел жука даже и на половину такой тяжести.

— Хорошо, положим, что ты прав, Юпи, — сказал Легран несколько более серьезно, как мне показалось, чем того требовал случай, — но все же это не причина, чтобы ты сжег дичь? Достаточно на него взглянуть, — тут он обратился ко мне, — для того, чтобы подтвердить мнение Юпитера. Вы никогда не видали металлического блеска более ослепительного, чем блеск его надкрыльев. Но об этом вы не можете судить до завтра. А пока я постараюсь дать вам некоторое понятие о его форме.

Говоря это, он уселся за небольшим столом, на котором было перо и чернила, но бумаги не было. Он поискал ее в ящике, но не нашел.

— Не беспокойтесь, — сказал он наконец, — этого будет достаточно, — и он вытащил из жилетного кармана клочок чего-то, что пока-

залось мне куском очень грязного пергамента, и сделал на нем очень грубый набросок пером, Пока он был занят этим, я продолжал сидеть у огня, так как мне все еще было очень холодно. Когда рисунок был окончен, он протянул мне его, не вставая. В то время как я брал его, послышалось громкое рычание, сопровождавшееся царапаньем в дверь. Юпитер открыл ее, и огромная ньюфаундлендская собака, принадлежащая Леграну, ворвалась в комнату, бросилась мне на плечи и стала осыпать меня своими ласками, так как в предыдущие свои посещения я выказал ей много внимания. Когда ее прыжки кончились, я посмотрел на бумагу и, сказать правду, был немало озадачен тем, что нарисовал мой друг.

— Хорошо! — сказал я, после того как смотрел на рисунок в течение нескольких минут. — Должен признаться: это престранный скарабей, для меня он совсем новый. Я не видал ничего даже подобного ему — разве только череп, или мертвую голову — на которые он походил более, чем на что-либо другое, что мне случалось наблюдать.

— На мертвую голову! — повторил Легран, как эхо. — О да, конечно, есть что-то в моем рисунке схожее с ней. Два верхних черных пятна смотрят как глаза, да? А более продолговатое, ниже, как

рот, правда, и затем овальная форма.

— Может быть, это так, — сказал я, — но я боюсь, Легран, что вы не художник. Я должен подождать, пока не увижу самого жука, если мне нужно составить какое-нибудь представление о его внешнем виде.

— Хорошо, — сказал он, несколько задетый, — я знаю, что рисую порядочно — по крайней мере, должен был бы неплохо рисовать, так как у меня были хорошие учителя, и я льщу себя надеждой, что был не совсем уж тупоголовым учеником.

— Но, мой милый друг, — сказал я, — вы шутите тогда: это довольно удачный череп, могу сказать даже — превосходный череп, согласующийся с общими представлениями о таких физиологических образцах — и ваш жук был бы самым удивительным из всех жуков в мире, если бы он походил на это. Что же, мы могли бы извлечь из такого намека весьма сердцещипательное суеверие. Я предполагаю, что вы назовете ваше насекомое Scarabaeus caput hominis, жук — человеческая голова, или что-нибудь в этом роде. В книгах по естественной истории много подобных названий. Но где усики, о которых вы говорили?

— Усики! — сказал Легран, который, как казалось, без причины горячился по поводу данного

предмета. — Я уверен, вы должны видеть усики. Я сделал их такими же явственными, как у настоящего жука, и я думаю этого вполне достаточно.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — быть может, вы сделали их, но все же я их не вижу.

И я протянул ему бумагу, не прибавив ничего больше, ибо не желал окончательно вывести его из себя; все же я был очень озадачен оборотом дела; я был ошеломлен его дурным настроением — что же касается жука, то, положительно, на рисунке не было видно усиков, а общий вид насекомого имел очень большое сходство с мертвой головой.

Он взял обратно свою бумагу с очень недовольным видом и готов был скомкать ее, очевидно, чтобы бросить в огонь, когда случайный взгляд, брошенный им на рисунок, как казалось, внезапно приковал его внимание. В один миг лицо его сильно покраснело, потом страшно побледнело. В течение нескольких минут он продолжал подробно изучать рисунок. Наконец он встал, взял со стола свечу и отправился в самый отдаленный конец комнаты, где уселся на корабельном сундуке. Здесь он снова начал с взволнованным любопытством рассматривать бумагу, поворачивая ее во все стороны. Он ничего не говорил,

однако, и его поведение весьма изумляло меня; но я считал благоразумным не обострять возраставшей его капризности каким-либо замечанием. Вдруг он вынул из бокового кармана портфель, бережно положил туда бумагу и, спрятав все в письменный стол, запер его на ключ. Теперь он сделался спокойнее в своих манерах, но прежний восторженный вид утратил напрочь. Однако он казался не столько сердитым, сколько сосредоточенным. Чем более надвигался вечер, тем более и более погружался он в мечтательность, из которой никакая моя живость, ни шутка не могли его вывести. У меня было намерение провести ночь в хижине, как это часто случалось раньше, но, видя настроение, в котором находился мой хозяин, я счел за лучшее распрощаться с ним. Он не сделал никакого движения, чтобы удержать меня, но, когда я уходил, пожал мне руку даже более сердечно, чем обыкновенно.

Прошло около месяца после этого (и за это время я ничего не слышал о Легране), как вдруг в Чарльстоне меня посетил его слуга, Юпитер. Я никогда не видал старого знакомого таким расстроенным и испугался, не случилось ли с моим другом какого-либо серьезного несчастья.

— Ну, как, Юпи? — сказал я. — Что нового? Как

поживает ваш господин?

— Сказать правду, масса, ему совсем не так хорошо, как могло бы быть.

— Нехорошо! Мне очень прискорбно слышать это. На что же он жалуется?

— Вот то-то и оно! Он никогда не жалуется ни на что, а все же он очень болен.

— Очень болен, Юпи! Что же вы не сказали мне этого сразу? Он в постели?

— Нет, не то, если б он лежал — его нигде не найти — вот тут-то душе и больно. Сильно мое сердце беспокоит бедный масса Вилль…

— Юпитер, я хотел бы понять хоть сколько-нибудь то, о чем вы говорите. Вы сказали, что хозяин ваш болен. Разве он не сказал вам, что у него болит?

— Ах, масса, совсем напрасно ломать себе голову над этим — масса Вилль говорит, что с ним все в порядке — почему же он бродит тогда взад и вперед, задумавшись, смотря себе под ноги, повесив голову и подняв плечи, а сам — белый, как гусь? И потом, он все возится с цифрами.

— Что он делает, Юпитер?

— Возится с цифрами и выписывает их на грифельной доске — да такие чудные, что я и не видел никогда. Скажу, вам, это начинает меня

пугать. За ним нужен глаз да глаз. Тут вот, на днях, он сбежал от меня до зари и пропадал весь Божий день. Я нарочно вырезал хорошую палку, чтобы проучить его хорошенько, когда он вернется, — только я, дурак, не мог решиться — такой он был жалкий на вид.

— Как?.. Проучить?.. Ну, да после всего, я думаю, вам не следует быть слишком строгим с беднягой. Уж не бейте его, Юпитер, пожалуй, он и не вынесет этого — однако можете ли вы установить, что вызвало его недуг или, вернее, эту перемену с ним? С ним случилась какая-нибудь неприятность с тех пор, как я не видал нас?

— Нет, масса, после того дня ничего страшного не случилось — боюсь, это случилось раньше — как раз в тот день, когда вы были там.

— Как? Что вы хотите сказать?

— Да вот, масса, хочу сказать про жука — вот и все.

— Про что?

— Про жука — уверен я, твердо уверен, что масса Вилль был укушен куда-нибудь в голову этим золотым жуком.

— Какое же основание у вас, Юпитер, для этого предположения?

— Клешней довольно, масса, и вдобавок еще

рот. Никогда я не видывал такого чертовского жука — он толкается ногами и кусает все, что ни приближается к нему. Масса Вилль поймал его скоро, да тотчас же и выпустил. Скажу вам — тогда-то он и был укушен. Рот у этого жука — вот что мне не нравится более всего. Сам я потому пальцами взять его не захотел, а в кусочек бумажки поймал, которую нашел. Завернул его в бумагу и кусочек засунул ему в рот — вот как было дело.

— И вы думаете, что ваш господин действительно был укушен жуком, и что он захворал от укуса?

— Я ничего не думаю об этом — я знаю это. Что же его тогда постоянно заставляет видеть во сне золото, ежели это не из-за того, что золотой жук его укусил? Я уж и раньше слыхал об этих золотых жуках.

— Но откуда вы знаете, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Потому что он говорит об этом во сне — вот откуда я это знаю.

— Хорошо, Юпи, может быть вы и правы, но какой счастливой случайности я обязан чести вашего сегодняшнего посещения?

— О чем это вы, масса?

— У вас какое-нибудь поручение ко мне от мистера Леграна?

— Нет, масса, у меня нет какого-нибудь поручения, а вот есть это письмо, — и Юпитер вручил мне записку, в которой было следующее:

«Мой дорогой!

Отчего я не видал вас так долго? Надеюсь, вы не были настолько безрассудны, чтобы обидеться на некоторую мою резкость; но нет, это, конечно, невероятно.

За то время, что я не видал вас, у меня было много причин для беспокойства. Мне нужно сообщить вам нечто, но не знаю, как вам это сказать, и даже нужно ли вообще говорить.

В течение нескольких дней я был не совсем здоров, и мой бедный старик Юпи надоедал мне, почти до нестерпимости, своими добрыми заботами. Поверите ли? — на днях он принес огромную палку, дабы наказать меня за то, что я улизнул от него и провел день solus, в полном одиночестве, среди холмов на материке. И поистине я думаю, что только мой больной вид спас меня от палочных ударов.

С тех пор как мы не виделись, я не прибавил ничего нового к своей коллекции.

Если вы можете, устройтесь каким-нибудь образом и приходите сюда с Юпитером. Приходите. Я хочу видеть вас сегодня же вечером, по очень

важному делу. Уверяю вас, что дело это величайшей важности.

Всегда ваш, Вильям Легран».

В тоне этой записки было что-то, что заставило меня обеспокоиться. Весь ее стиль совершенно отличался от обычной манеры Леграна. О чем мог он мечтать? Какая новая причуда овладела его легко возбуждающимся мозгом? Какое такое «дело величайшей важности» могло у него быть? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я боялся, что постоянное давление несчастий в конце концов расстроило разум моего бедного друга. Потому, не колеблясь ни минуты, я стал собираться, чтобы сопровождать своего гостя.

Придя к берегу, я заметил косу и три лопаты, по-видимому, совершенно новые, лежавшие на дне лодки, в которой мы должны были отплыть.

— Что все это значит, Юпи? — спросил я.

— Это коса для него, масса, и лопаты.

— Совершенно верно; но зачем они тут?

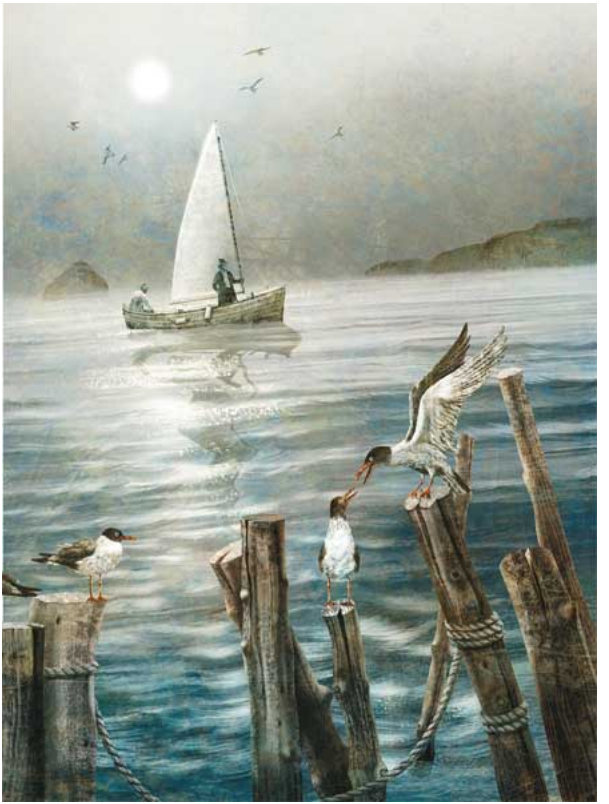
— Косу и лопаты масса Вилль велел купить мне для него в городе. И черт знает сколько за них денег я должен был дать.

— Но во имя всего таинственного, что же ваш «масса Вилль» хочет делать с этими косами и лопатами?

— А уж этого-то я не знаю, и черт меня побери, если он сам это знает. Но это все пришло от жука.

Видя, что мне ничего не добиться от Юпитера, вся мысль которого, казалось, поглощена была «жуком», я шагнул в лодку и развернул парус. С попутным сильным ветром мы быстро вошли в небольшой залив к северу от крепости Моультри и, сделав переход мили в две, пришли к хижине.

Было около трех часов пополудни, когда мы прибыли. Легран ждал нас в сильном нетерпении. Он сжал мне руку с нервной стремительностью, которая встревожила меня и подтвердила мои уже возникшие опасения. Лицо его было бледно даже до призрачности, и его запавшие глаза сверкали неестественным блеском. После некоторых вопросов касательно его здоровья я спросил его, не зная, о чем лучше заговорить, получил ли он жука от лейтенанта Г.



— О, да, — ответил он, сильно покраснев, — я взял его обратно на следующее же утро. Ни за что теперь не расстанусь я с этим скарабеем. Знаете,

Юпитер совершенно прав относительно него!

— Каким образом? — спросил я с дурным предчувствием в сердце.

— Предполагая, что это жук из настоящего золота.

Он сказал это с видом такой глубокой серьезности, что я почувствовал себя невыразимо угнетенным.

— Этот жук составит мою фортуну, — продолжал он с торжествующей улыбкой, — ему предназначено восстановить меня в моих фамильных владениях. Удивительно ли поэтому, что я так дорожу им? Если судьба сочла за нужное даровать мне его, мне нужно только надлежащим образом им воспользоваться, и я достигну золота, указателем которого он является. Юпитер, принеси мне этого скарабея!

— Что! Жука, масса? Не очень-то мне хочется трогать его — возьмите-ка уж его себе сами.

Тогда Легран встал с серьезным и торжественным видом и принес мне насекомое из-под стеклянного колпака, под которым оно находилось. Это был красивый скарабей, в то время совершенно еще неизвестный естествоиспытателям — с научной точки зрения, конечно, большая ценность. У него было два круглых черных пятна

на одном конце спины, и другое, более продолговатое, ближе к другому краю. Надкрылья были особенно тверды и глянцевиты и были очень похожи на блестящее золото. Вес насекомого был весьма примечательный и, принимая все это в соображение, я не мог слишком осуждать Юпитера за его мнение касательно жука; но что касается того, что Легран был согласен с этим мнением, почему он его разделял, я никоим образом не мог бы этого сказать.

— Я послал за вами, — начал он каким-то высокоторжественным тоном, когда я кончил рассматривать жука. — Я послал за вами, чтобы спросить вашего совета и помощи для исполнения предначертаний Провидения и жука.

— Мой дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы, наверное, нездоровы и вам нужно было бы принять какие-нибудь меры. Ложитесь в постель, а я останусь с вами несколько дней, пока вы не поправитесь. У вас жар и…

— Пощупайте мой пульс, — сказал он.

Я пощупал его пульс и, по правде сказать, не нашел никакого признака жара.

— Но вы можете быть больны и без жара. Позвольте мне хоть раз подать вам настоятельный совет. Прежде всего лягте в постель. Затем…

— Вы ошибаетесь, — прервал он, — мне хорошо, насколько это может быть при том возбуждении, в каком я нахожусь. Если вы действительно желаете мне блага, то вы захотите облегчить это возбуждение.

— А как это сделать?

— Очень просто. Юпитер и я, мы отправляемся в некоторую экспедицию в холмы, на материк, и в этой экспедиции нам понадобится помощь такого лица, на которое мы можем вполне положиться. Вы единственный, кому мы доверяем. Удастся ли нам это, нет ли, но то возбуждение, которое вы видите во мне, во всяком случае утихнет.

— Я очень хочу служить вам во всем, — ответил я, — но можете ли вы сказать, имеет ли этот дьявольский жук какое-либо отношение к вашей экспедиции в холмы?

— Да, имеет.

— В таком случае, Легран, я не могу принять участие в столь нелепом предприятии.

— Мне жаль, очень жаль, так как нам придется предпринять это одним.

— Попытаться предпринять это одним! Человек этот поистине безумен! Но постойте! Сколько времени вы думаете отсутствовать?

— Вероятно, всю ночь. Мы выйдем сейчас

же и возвратимся во всяком случае с восходом солнца.

— А можете ли вы обещать мне вашею честию, что, когда пройдет ваш каприз и дело с жуком (Господи Боже мой!) будет улажено к вашему удовольствию, вы вернетесь домой и будете в точности следовать моим советам, как если бы я был вашим врачом?

— Да, я обещаю. А теперь идем, ибо нам нельзя терять времени.

С тяжелым сердцем я последовал за моим другом. Мы вышли около четырех часов — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял с собой косу и лопаты, которые он захотел непременно нести сам, как мне показалось, больше из боязни отдать один из этих инструментов своему господину, чем от избытка усердия или услужливости. Он был зол и упрям до крайности, и единственные слова, которые вырвались у него во время всей этой прогулки, были: «Этот проклятый жук!» Что касается меня, мне были поручены два потайных фонаря, между тем как Легран удовольствовался скарабеем, который был привязан к концу бечевки; он крутил ее, размахивая ею взад и вперед, пока шел, с видом заклинателя. Когда я заметил этот последний признак безумия моего друга,

я с трудом мог удержаться от слез. Я думал, что во всяком случае лучше потакать его капризу, по крайней мере теперь, или до тех пор, пока я не смогу принять какие-либо более энергичные меры с надеждой на успех. Между тем я старался, но совершенно напрасно, выпытать у него, какова цель нашей экскурсии. После того как ему удалось убедить меня сопровождать его, он, казалось, не хотел поддерживать разговора о чем-нибудь менее важном, и на все мои вопросы не удостаивал меня другим ответом, кроме как: «Мы это увидим!»

Мы пересекли на ялике бухту у крайнего выступа острова и, взобравшись на высоту противоположного берега материка, направились к северо-западу через местность страшно дикую и пустынную, где не видно было следов человеческой ноги. Легран шел очень решительно, останавливался изредка то тут, то там для того, чтобы сообразоваться с некоторыми, как казалось, его собственными вехами, поставленными им здесь раньше.

Мы шли так приблизительно около двух часов, и солнце как раз заходило, когда мы вошли в область еще более мрачную, чем та, какую мы когда-либо доселе видели. Это было что-то вроде

плоскогорья, вблизи вершины почти недоступного холма, покрытого густым лесом сверху донизу; там и сям в беспорядке были рассеяны огромные глыбы, они лежали, по-видимому, непрочно и нередко должны были бы упасть вниз в долину, если бы их не задерживали деревья, в которые они упирались. Глубокие овраги вились во всех направлениях и придавали этой картине характер еще более мрачной торжественности.

Природная площадка, до которой мы карабкались, густо заросла кустами терновника, через них (мы увидели это тотчас) нам было бы невозможно пробраться без косы; и Юпитер, под руководством своего господина, стал прочищать для нас дорожку к подножию исполински высокого тюльпанного дерева, которое возвышалось среди восьми или десяти дубов, находившихся на одном с ним уровне, и намного превосходило их, а также и все другие деревья, которые я до того времени видел, красотою листвы и формы, широким распространением своих ветвей и общим величественным видом. Когда мы приблизились к дереву, Легран обернулся к Юпитеру и спросил его, по силам ли ему на него взобраться. Бедный старик, казалось, был слегка ошеломлен этим вопросом и несколько мгновений ничего не

отвечал. Наконец, он приблизился к огромному стволу, медленно обошел его кругом и осмотрел с тщательным вниманием. Когда он окончил свое исследование, он сказал просто:

— Да, масса, Юпи еще не видел за свою жизнь дерева, на какое он не мог бы взобраться.

— Так взбирайся, и скорее, а то скоро совсем стемнеет, и нам ничего не будет видно.

— Как высоко нужно мне влезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся сначала по главному стволу, а потом я скажу тебе, куда направиться. Послушай — стой! Возьми этого жука с собою.

— Жука, масса Вилль! Золотого жука! — воскликнул слуга, пятясь назад в страхе. — Для чего мне нужно брать жука на дерево? Да будь я проклят, если я это сделаю!

— Если ты, Юпи, большой-пребольшой, боишься взять в руку безвредного маленького мертвого жука — что ж, ты можешь держать его на бечевке. Но если ты не возьмешь его с собой так или иначе, я буду принужден размозжить тебе голову вот этой лопатой.

— Что же тут разговаривать, масса? — сказал Юпи, очевидно, пристыженный до согласия. — Всегда вам нужно поднять шум, когда вы говорите

со старым слугой. Пошутил ведь я только. Мне — бояться жука! Буду я думать о жуке!

Тут он осторожно взялся за самый крайний конец бечевки и, держа насекомое так далеко от своей особы, как только это позволяли обстоятельства, приготовился влезать на дерево.

В юном возрасте тюльпанное дерево, Liriodendron Tupiliferum, самое великолепное из американских лесных деревьев, имеет ствол необычайно гладкий и нередко поднимается на большую высоту без боковых ветвей; но с годами кора его делается неровной и сучковатой, ибо на стволе появляется множество коротких ветвей. Таким образом, в данном случае взобраться на него казалось более трудным, нежели это было на самом деле. Обхватывая огромный ствол насколько возможно плотнее руками и коленями, придерживаясь руками за одни выступы и становясь босыми ногами на другие, Юпитер после одной или двух неудачных попыток, едва-едва не свалившись, вскарабкался, наконец, на первое большое разветвление и, казалось, считал, что все дело по существу уже закончено. Риск этого свершения действительно теперь миновал, хотя все же влезавший находился на высоте шестидесяти или семидесяти футов от земли.

— В какую мне теперь сторону двигаться, масса Вилль? — спросил он.

— Следуй по самой толстой ветви — по той, что с этой стороны, — сказал Легран.

Юпитер повиновался ему сразу: по-видимости, он лез лишь с малыми затруднениями, поднимаясь все выше и выше, пока наконец совсем нельзя было различать его мелькавшую скорчившуюся фигуру среди густой листвы, закрывавшей его. Теперь его голос был слышен словно издалека:

— Сколько еще мне нужно лезть дальше?

— Как высоко ты находишься? — спросил Легран.

— Так высоко, — отвечал тот, — что могу видеть небо над верхушкой дерева.

— Не занимайся небом, а слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри вниз на ствол и сосчитай сучья, которые находятся под тобой с этой стороны. Сколько сучьев ты миновал?

— Раз, два, три, четыре, пять — подо мною пять толстых сучьев с этой стороны.

— Тогда поднимись еще на один сук выше.

Через несколько минут снова послышался голос, возвещавший, что седьмой сук был достигнут.

— Теперь, Юпи, — вскричал Легран, видимо,

сильно взволнованный, — я бы хотел, чтобы ты продвинулся по этому суку вперед, насколько только ты сможешь. Если ты увидишь что-нибудь необыкновенное, дай мне знать.

За это время то маленькое сомнение, которое я еще старался сохранить относительно сумасшествия моего бедного друга, оставило меня окончательно. Я не мог не сделать заключения, что он поражен безумием, и начинал серьезно беспокоиться о том, как бы увести его домой. Покуда я раздумывал, что лучше предпринять, голос Юпитера послышался снова.

— Очень страшно продвигаться дальше по этому суку — он весь до конца сухой.

— Ты говоришь, что это сухой сук, Юпитер? — вскричал Легран дрожащим голосом.

— Да, масса, он сух, как дверной гвоздь — пропащее дело — тут уж жизни нет никакой.

— Боже мой, Боже мой, что же мне делать? — спросил Легран, по-видимому, в большой тревоге.

— Что делать? — сказал я, обрадованный случаем вставить слово. — Вернуться домой и лечь спать. Пойдем теперь — будьте добрым товарищем. Становится поздно, и притом вспомните ваше обещание.

— Юпитер, — закричал он, не обращая на меня ни малейшего внимания, — ты слышишь меня?

— Да, масса Вилль, я слышу вас все так же ясно.

— Тогда попробуй дерево твоим ножом и посмотри, может быть, сук не очень гнилой.

— Гнилой, масса, препорядочно гнилой, — ответил через несколько мгновений слуга, — но не настолько уж гнилой, как мог бы быть. Могу попытаться пройти немножко дальше по суку один — это вернее.

— Один! Что ты хочешь сказать?

— Да что же — я говорю о жуке. Ужасно тяжелый этот жук. Если бы я его бросил, тогда сук выдержал бы, не ломаясь, как раз вес одного человека.

— Вот чертов плут, — воскликнул Легран, повидимому, с облегчением, — что ты хочешь сказать этим вздором? Если ты только бросишь жука, я сверну тебе шею. Смотри же, Юпитер, ты слышишь меня?

— Да, масса, никакой нет надобности кричать таким манером на бедного старика.

— Хорошо! Теперь слушай! Если ты решишься пойти по суку вперед, не рискуя, так далеко, как только ты сможешь, и не бросишь жука — я

подарю тебе серебряный доллар тотчас же, как ты слезешь.

— Иду, иду, масса Билль, вот я уж тут, — ответил весьма поспешно слуга, — я почти что на самом конце теперь.

— На самом конце! — пронзительно прокричал Легран. — Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?

— Скоро буду на конце, масса. О-о-о-о-ох! Господи Боже мой! Что это тут на дереве!

— Ну, — закричал Легран с великой радостью — что такое?

— Да ничего — только тут череп — кто-то оставил свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо до кусочка.

— Череп, ты говоришь! Хорошо. Как он прикреплен на суку? Как он на нем держится?

— Хорошо держится, масса, нужно посмотреть. Очень это удивительно, честное слово — тут большой толстый гвоздь в черепе, он-то его и удерживает на дереве.

— Хорошо, Юпитер, сделай все так, как я скажу, ты слышишь?

— Да, масса.

— Теперь будь внимателен! Найди левый глаз у черепа.

— Гм! Гу! Бот хорошо! Тут совсем нет левого глаза.

— Будь проклята твоя глупость! Можешь ты отличить свою правую руку от левой?

— Да, знаю — все это я знаю — моя левая рука та, которой я надрезал дерево.

— Наверное! Ты левша, и левый твой глаз с той же стороны, как твоя левая рука. Теперь, я думаю, ты можешь найти левый глаз на черепе или то место, где находился левый глаз. Нашел ты его?



Здесь последовала продолжительная пауза. Наконец, Юпитер спросил:

— Левый глаз черепа с той же стороны, как

и левая рука его? Потому что у черепа совсем нет руки, ни чуточки — да это ничего! Я нашел теперь левый глаз — тут вот левый глаз! Что мне с ним делать?

— Пропусти через него жука настолько, насколько достанет веревка. Но будь осторожен, не выпусти его из рук.

— Все это сделано, масса Вилль, очень простая вещь — пропустить жука через дырку — посмотрите на него снизу, как он там!

В продолжение этой беседы Юпитера совсем не было видно; но жук, которого он опускал, был теперь виден на конце бечевки и блестел, как шарик полированного золота в последних лучах заходящего солнца, из коих некоторые еще слабо освещали возвышенность, на которой мы стояли. Скарабей свисал совершенно четко с ветвей и, если бы ему было предоставлено упасть, он упал бы к нашим ногам. Легран немедленно же взял косу и расчистил кругообразное пространство в три или четыре ярда в диаметре, как раз под насекомым, и, окончив это, приказал Юпитеру отпустить бечевку и спускаться с дерева.

Воткнув с большой точностью деревянный клин в землю в то самое место, куда упал жук, мой друг вынул из своего кармана землемер-

ную ленту. Прикрепив один конец ее к тому краю ствола, который был ближе к деревянному клину, он развертывал ее, пока она не достигла клина, и продолжал дальше развертывать ее в направлении, уже определенном двумя точками — дерева и клина, на протяжении пятидесяти футов — между тем как Юпитер косой расчищал терновник. В точке, которую он нашел таким образом, был вбит второй клин, и вокруг него, как центра, был начертан грубый круг, около четырех футов в диаметре. Взяв теперь сам лопату и дав одну лопату Юпитеру, а другую мне, Легран попросил нас приняться за копание возможно скорее.

Сказать правду, у меня никогда не было особенного вкуса к подобному удовольствию, а в этом частном случае я бы весьма желал избегнуть его совсем, ибо ночь уже надвигалась и я чувствовал большую усталость от всех усилий, которые уже были сделаны; но я не видел никакого способа избежать этого и боялся своим отказом расстроить душевное равновесие моего бедного друга. Если бы я мог, на самом деле, рассчитывать на помощь Юпитера, у меня не было бы колебания, и я попытался бы увести сумасшедшего домой силой; но я слишком хорошо знал характер старого

слуги, чтобы надеяться на его помощь при каких бы то ни было обстоятельствах в случае личного столкновения с его господином. У меня не было сомнения, что этот последний был заражен одним из неисчислимых суеверий Юга касательно зарытых кладов и что его выдумка была подкреплена этой находкой скарабея, или быть может, даже упрямым утверждением Юпитера, что это «жук из настоящего золота».

Ум, склонный к безумию, вполне мог поддаться подобным влияниям — особенно если они согласовались с его излюбленными предвзятыми мыслями — и потом я вспомнил речь бедняги относительно того, что этот жук есть «указатель его фортуны». В целом я был сильно огорчен и обеспокоен, но под конец решил примириться с необходимостью — копать с доброй волей и таким образом поскорее убедить мечтателя, с полной наглядностью, в иллюзорности его мечтаний.

Фонари были зажжены, и мы принялись за работу с усердием, достойным более разумной цели; и когда свет упал на наши фигуры и орудия, я не мог не подумать о том, какую живописную группу мы представляли и какой странной и подозрительной показалась бы наша работа ко-

му-нибудь, кто случайно наткнулся бы на нас.

Мы рыли очень стойко часов около двух. Мало было говорено, и главным нашим затруднением был лай собаки, которая относилась *с* непомерным интересом к тому, что мы делали. Под конец лай этот сделался настолько громким, что мы стали бояться, что он может привлечь сюда каких-нибудь бродяг, находящихся поблизости; или, скорее, это было большим опасением Леграна; что касается меня, я был бы обрадован всяким вмешательством, которое дало бы мне возможность увести беспокойного странника домой. Наконец, лай был успешно заглушен Юпитером, который, выскочив из ямы, с самым решительным видом связал морду собаки одной из своих подтяжек и затем вернулся, торжествующе посмеиваясь, к своей работе.

Когда истекло положенное время, мы достигли глубины пяти футов, но и теперь не было никакого признака клада. Последовала большая пауза, и я начал надеяться, что фарс кончен. Меж тем Легран, хотя, по-видимому, очень обескураженный, отер лоб, задумчиво взял свою лопату и начал снова. Мы изрыли уже весь круг в четыре фута в диаметре, а теперь слегка расширили границу и пошли еще далее на два фута в глубину.

Тем не менее ничего не появлялось. Искатель золота, которого я искренно жалел, выкарабкался, наконец, из ямы и с горькой безнадежностью, запечатленной в каждой черте его лица, стал медленно и неохотно надевать свою куртку, которую он снял перед началом работы. Я между тем не делал никакого замечания. Юпитер, по знаку своего господина, начал собирать орудия. Окончив это и развязав собаку, мы направились к дому в глубоком молчании.

Мы сделали, может быть, около двенадцати шагов в этом направлении, как вдруг Легран с громкими проклятиями бросился на Юпитера и схватил его за шиворот. Слуга, пораженный, открыл глаза и рот во всю их ширину, уронил лопаты и упал на колени.

— Ты негодяй, — сказал Легран, шипя и выталкивая каждый слог сквозь стиснутые зубы. — Ты адский мерзавец! Говори, приказываю я тебе! Отвечай мне тотчас же, без уловок! Который — который твой левый глаз?

— Ах, Боже мой, масса Вилль! Разве не это мой левый глаз? — возопил испуганный Юпитер, прижимая руку к правому своему зрительному органу и придерживая его с отчаянным упрямством, как будто в предчувствии неминуемой

опасности, что господин его попытается выбить ему глаз.

— Я так и думал! Я знал это! Ура! — выкликнул Легран, выпустив слугу и проделывая разные прыжки и курбеты к великому изумлению своего слуги, который, встав с колен, молча переводил взгляд со своего господина на меня и потом с меня на своего господина.

— Пойдем! Мы должны вернуться, — сказал последний. — Игра еще не проиграна, — и он опять направился по дороге к тюльпанному дереву.

— Юпитер, — сказал он, когда мы достигли подножия его, — пойди сюда! Был череп пригвожден на суку лицом вверх или же лицом к ветви?

— Лицо было кверху, масса, так что вороны могли выклевать глаза без всякой помехи.

— Хорошо, а через этот или через тот глаз ты пропустил жука?

Здесь Легран потрогал один, потом другой глаз Юпитера.

— Это был вот этот глаз, масса, — левый глаз — как вы мне сказали, — и тут слуга указал на свой правый глаз.

— Хорошо, мы должны, значит, начать снова.

Здесь мой друг, в безумии которого я увидал или думал, что вижу, некоторые указания на

метод, переставил деревянный клин, отмечавший точку, куда упал жук, в другое место на три дюйма к западу от первого его положения. Разложив теперь землемерную ленту от ближайшей точки ствола к клину, как и раньше, и продолжая укладывать ее по прямой линии на протяжении пятидесяти футов, он нашел некоторую точку на расстоянии нескольких ярдов от того места, где мы копали.



Вокруг новой точки был теперь очерчен круг немного шире, чем раньше, и мы вновь принялись работать лопатами. Я был ужасно истомлен,

но, едва отдавая себе отчет, что произвело перемену в моих мыслях, я не чувствовал больше такого отвращения к навязанной мне работе. Я был необъяснимо заинтересован — более того, даже возбужден. Может быть, было что-то во всем экстравагантном поведении Леграна — род какого-то провидения или обдуманности, что производило на меня впечатление. Я копал с жаром и время от времени действительно ловил себя на том, что тружусь с чем-то похожим на ожидание воображаемого клада, призрак которого свел с ума несчастного моего товарища. В то время как фантастические мысли вполне охватили меня, и когда мы работали, быть может, уже около полутора часов, мы вновь были прерваны громким воем собаки. Ее беспокойство, в первом случае, очевидно, бывшее проявлением шаловливости или каприза, приобрело более резкий и серьезный характер. На вторичную попытку Юпитера завязать ей морду, она выказала яростное сопротивление и, прыгнув в яму, стала бешено копать землю своими когтями. Через несколько секунд она раскопала массу человеческих костей, которые образовали два полных скелета, перемешанных с несколькими металлическими пуговицами и с чем-то, что казалось

сгнившей, обратившейся в пыль, шерстяной материей. Один или два взмаха лопаты подняли на поверхность лезвие большого испанского ножа, и, когда мы стали копать дальше, показались три или четыре золотые и серебряные монеты.

При виде этого Юпитер с трудом мог сдержать свою радость, но лицо его господина выражало величайшее разочарование. Все же он попросил нас продолжать наши старания, и едва он произнес эти слова, как я споткнулся и упал вперед, попав носком сапога в большое железное кольцо, которое наполовину утопало в рыхлой земле.

Мы снова ревностно принялись за работу, и никогда не проводил я десяти минут в таком напряженном возбуждении. В продолжение этого промежутка времени мы целиком откопали продолговатый деревянный сундук, который, судя по его полной сохранности и удивительной твердости, был, вероятно, подвергнут какому-нибудь минерализирующему процессу, быть может применению двухлористой ртути. Сундук этот был трех с половиной футов длины, трех футов ширины и двух с половиной футов глубины. Он был плотно скреплен полосами из кованого железа, заклепанными и являвшими своего рода решетку. С каждой стороны сундука

ближе к крышке было по три железных кольца — всего-навсего шесть — ухватившись за которые его могли бы крепко держать шесть человек. Наши крайние соединенные усилия лишь дали нам возможность сдвинуть его в его ложе. Мы тотчас увидели невозможность поднять такой большой груз. По счастию, единственно, чем придерживалась крышка, были два выдвижные засова. Мы вытащили их, дрожа и задыхаясь от напряженного беспокойства. В одно мгновение клад неисчислимой ценности, сверкая, лежал перед нами. Когда свет фонаря упал в яму, из нее от беспорядочной кучи золота и драгоценностей брызнул яркий блеск, который совершенно ослепил наши глаза.

Я не буду пытаться описывать чувства, с которыми я смотрел. Величайшее удивление было, конечно, господствующим. Легран казался истощенным от возбуждения и проговорил только несколько слов. Лицо Юпитера в течение нескольких минут было смертельно бледным, насколько только это возможно по природе вещей, то есть насколько лицо темнокожего может побледнеть. Оно казалось ошеломленным — он был как пораженный громом. Наконец, он упал на колени в яме и, засунув голые руки по локоть

в золото, оставался так, как бы наслаждаясь роскошеством ванны. Наконец, с глубоким вздохом он воскликнул, как бы обращаясь к самому себе:

— И все это пришло от золотого жука! От красивого золотого жука! От бедного маленького жука, а я-то его бранил самым поносным образом! И тебе не стыдно за себя? Отвечай-ка мне!

Наконец, сделалось необходимым, чтобы я разбудил и хозяина и слугу и указал им, что нужно унести клад. Становилось уже поздно, и нам надлежало приложить усилия, дабы мы могли отнести всё домой до рассвета. Было трудно сказать, что нужно было сделать, и много времени было потеряно на обсуждения — так спутаны были мысли у всех. Наконец, мы разгрузили сундук, вынув две трети содержимого, и тогда нам удалось, хотя с некоторым трудом, вытащить его из ямы. Вынутые вещи мы положили в кусты, и сторожить их была оставлена собака, которой Юпитер приказал ни под каким предлогом не трогаться с места и не открывать рта, пока мы не вернемся. Затем мы с сундуком поспешно направились к дому; благополучно, хотя и страшно усталые, мы достигли хижины в час ночи. Мы были так утомлены, что было бы не в человеческих силах сейчас же продолжать работу. Мы пробы-

ли дома до двух и поужинали; после чего вновь отправились к холмам, взяв с собой три крепких мешка, которые, по счастию, нашлись под рукой. Немного раньше четырех мы прибыли к яме, разделили между собой по возможности поровну остальную добычу и, оставив яму незасыпанной, снова отправились к дому, где вторично сложили нашу золотую ношу как раз тогда, когда первые слабые лучи зари засветились на востоке над вершинами деревьев.

Мы были теперь совершенно разбиты; но напряженное возбуждение, овладевшее нами, не давало нам отдохнуть. После беспокойного сна в продолжение трех или четырех часов мы поднялись, как будто бы сговорившись, чтобы осмотреть сокровища.

Сундук был полон до краев, и весь день и большую часть следующей ночи мы внимательно изучали его содержимое. Там не было ничего похожего на порядок или распределение. Все было навалено как попало. Тщательно разобрав все, мы увидали себя обладателями богатства большего даже, чем мы предполагали это сначала. Монетами было гораздо более, чем четыреста пятьдесят тысяч долларов, — оценивая их насколько возможно точно по курсу того времени. Серебра во

всем этом не было вовсе. Все было золото Старого времени и очень разнообразное — французские, испанские и немецкие монеты с несколькими английскими гинеями и несколькими монетами, каких раньше нам никогда не приходилось видеть. Там было несколько больших тяжелых монет таких стертых, что мы совсем не могли разобрать на них надписей. Американских денег там не было. Оценить стоимость драгоценностей нам было гораздо труднее. Тут были бриллианты — некоторые из них необыкновенно большие и красивые — сто десять в общем и маленького ни одного; восемнадцать рубинов замечательного блеска; триста десять изумрудов, все очень красивые; и двадцать один сапфир с одним опалом. Эти камни были все выломаны из своей оправы и брошены в беспорядке в сундук. Сами же оправы, которые мы отделили от другого золота, казалось, были сплющены молотком, как будто для того, чтобы не быть узнанными. Кроме всего этого, там было большое количество украшений из цельного золота: около двухсот массивных колец и серег; великолепных цепочек — числом тридцать, насколько я припомню; восемьдесят три очень тяжелых и больших распятия; пять золотых кадильниц большой цены; огромная

золотая чаша для пунша, разукрашенная богато вычеканенными виноградными листьями и вакхическими фигурами; две рукоятки мечей превосходной рельефной работы и много других более мелких вещей, которых я припомнить не могу. Вес всех этих ценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов; и в эту смету я не включил еще сто девяносто семь чудесных золотых часов, из коих трое стоили каждые по пятисот долларов. Некоторые из них были очень стары и негодны как счетчики времени, ибо их ход пострадал более или менее от ржавчины — но все они были богато разукрашены камнями и находились в оправе большой ценности. В эту ночь мы оценили все содержимое сундука в полтора миллиона долларов; а после вторичного пересмотра драгоценностей и украшений (некоторые мы оставили для себя лично) мы нашли, что еще очень низко оценили клад.

Когда, наконец, мы окончили наш осмотр и напряженное возбуждение несколько улеглось, Легран, видя, что я горю нетерпением разрешить эту необыкновеннейшую загадку, подробным образом рассказал мне все обстоятельства, связанные с ней.

— Вы помните, — сказал он, — ту ночь, когда

я показал вам грубый набросок скарабея, который я сделал. Вы помните также, что я был очень обижен на вас за то, что вы утверждали, будто мой рисунок походит на мертвую голову. Когда вы в первый раз сделали это замечание, я подумал, что вы шутите; но потом я вспомнил странные пятнышки на спине жука и допустил, что ваше замечание действительно имело некоторое основание. Все же насмешка над моими рисовальными способностями раздражила меня — так как я считаюсь порядочным художником — и потому, когда вы протянули мне кусок пергамента, я был готов скомкать его и с гневом бросить в огонь.

— Кусок бумаги, хотели вы сказать, — сказал я.

— Нет; в нем было большое сходство с бумагой, и сначала я так и думал, но, когда я начал рисовать на этом куске, я увидел сейчас же, что это кусок очень тонкого пергамента. Как вы помните, он был совершенно грязен. Хорошо. Когда я готов был уже скомкать его, мой взгляд упал на рисунок, который вы рассматривали, и вы можете себе представить мое удивление, когда я действительно увидал изображение мертвой головы как раз на том самом месте, где, как мне показалось, я нарисовал жука. Первое мгновение я был слиш-

ком изумлен, чтобы думать правильно. Я знал, что мой рисунок в мелочах очень отличался от этого — однако тут было некоторое сходство в общих очертаниях. Тогда я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал рассматривать пергамент более тщательно. Перевернув его, я увидел мой собственный рисунок на обратной стороне точно таким, как я его сделал. Первым моим чувством было теперь простое удивление, вызванное действительно замечательным сходством общих очертаний — странным совпадением, заключавшемся в том неизвестном для меня факте, что тут был череп на обратной стороне пергамента, как раз под моим изображением скарабея, и что череп этот не только очертанием, но и размером мог так точно походить на мой рисунок! Я говорю, что странность этого совпадения на мгновение совершенно ошеломила меня. Это обычное действие таких совпадений. Ум старается установить соотношение — последовательность причины и следствия — и, будучи бессилен сделать это, подвергается неизвестного рода временному параличу Но когда я опомнился от этого оцепенения, во мне постепенно зародилось убеждение, которое поразило меня даже гораздо более, чем самое

совпадение. Я точно и ясно начал припоминать, что рисунка не было на пергаменте, когда я делал мой набросок скарабея. Я совершенно уверился в этом, ибо припомнил, что сначала я повернул его на одну, потом на другую сторону, ища более чистого места. Если бы череп был там, конечно, я не преминул бы заметить его. Тут действительно была какая-то тайна, и я чувствовал, что ее невозможно изъяснить; но даже в этот самый миг мне показалось, что в самых отдаленных и тайных уголках моего ума слабо засветилось подобное мерцанию светляка представление об истине, которое приключением прошедшей ночи было приведено к такому блестящему разрешению. Я немедленно встал и осторожно убрал пергамент, отложив все дальнейшие размышления до тех пор пока не буду один.



Когда вы ушли и Юпитер крепко заснул, я предался более методичному исследованию этого дела. Прежде всего я стал соображать, каким

образом пергамент попал в мои руки. То место, где мы нашли скарабея, было на берегу материка, около мили на восток от острова и лишь в небольшом отстоянии над уровнем прилива. Когда я поймал его, он жестоко меня укусил, что заставило меня выпустить его. Юпитер с обычной ему осторожностью, прежде чем схватить насекомое, которое полетело по направлению к нему, посмотрел вокруг себя, ища листа или чего-либо в этом роде, чем бы взять его. В это самое время взгляд его, так же как и мой, упал на кусок пергамента, который я принял за бумагу. Он лежал наполовину зарытый в песок, один уголок торчал наружу. Около того места, где мы нашли его, я заметил обломки судна, которое, по видимости, было длинной корабельной лодкой. Как казалось, обломки лежали тут с очень давнего времени, ибо в них с трудом можно было усмотреть сходство с лодочными ребрами.

Хорошо. Юпитер поднял пергамент, завернул в него жука и отдал его мне. Вскоре мы направились обратно к дому и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил у меня позволения взять его к себе в крепость. Я согласился; он сунул его в свой жилетный карман, без пергамента, в котором тот

был завернут и который я продолжал держать в руке моей, пока он рассматривал жука. Может быть, он опасался, что я передумаю и счел, прежде всего, за наилучшее увериться в добыче — вы знаете, как восторженно он относится ко всему, что касается естественной истории. В то же самое время, совсем бессознательно, я, должно быть, положил пергамент в мой собственный карман.

Вы помните, что, когда я подошел к столу, намереваясь сделать рисунок жука, я не нашел бумаги там, где она обыкновенно лежала. Я заглянул в ящик и там не нашел ничего. Я пошарил у себя в карманах, в надежде найти какое-нибудь старое письмо, когда рука моя наткнулась на пергамент. Я так точно и так подробно описываю способ, которым он попал в мое обладание, ибо все эти обстоятельства произвели на меня особенно сильное впечатление.

Без сомнения, вы сочтете меня за мечтателя — но я уже установил род соотношения. Я соединил два звена большой цепи. Лодка, лежащая на берегу, и неподалеку от нее пергамент — не бумага — с черепом, нарисованным на нем. Вы, конечно, спросите: «Где тут соотношение?» Я отвечу, что череп или мертвая голова — это хорошо известная эмблема пиратов. Флаг с мертвой головой

поднят во всех морских схватках.

Я сказал вам, что то был пергамент, а не бумага. Пергамент вещь прочная — почти не гибнущая. Дела маловажные редко препоручают на хранение пергаменту; ибо для простого обыкновенного рисунка или писания он далеко не так удобен, как бумага. Эта мысль внушила мне некоторые предположения — доводы для составления заключений о мертвой голове. Я также не преминул заметить форму пергамента. Несмотря на то что один из его углов был уничтожен какой-либо случайностью, можно было видеть, что первоначальная его форма была продолговатая. Это был один из таких свитков, который мог быть выбран для меморандума — для записи чего-нибудь такого, что не должно было быть забыто и что надлежало тщательно сохранить.

— Но, — прервал я, — вы говорите, что черепа не было на пергаменте, когда вы делали набросок жука. Как же вы устанавливаете какое-либо соотношение между лодкой и черепом — если этот последний, по вашему собственному уверению, был нарисован (Бог весть как и кем), после того как вы сделали ваш набросок скарабея?

— А! Вокруг этого-то и вертится вся тайна; хотя в данном пункте мне сравнительно нетрудно

было получить разъяснение. Путь мой был верен и мог привести лишь к одному отдельному результату. Я рассуждал, например, так: когда я рисовал скарабея, черепа не было видно на пергаменте. Когда я кончил рисунок и передал его вам, я внимательно наблюдал за вами, пока вы переворачивали его. Вы поэтому не могли нарисовать черепа, а другого никого не было, чтобы сделать это. Значит, это не было сделано с человеческой помощью, и тем не менее это было сделано.

Но, дойдя до этого пункта моих размышлений, я постарался припомнить и вспомнил с полной ясностью все малейшие обстоятельства, которые имели место в упомянутое время. Погода была холодная (о, редкое и счастливое событие!), и огонь горел в очаге. Я был разгорячен прогулкой и сел около стола. Вы же придвинули стул вплотную к камину. Как раз когда я вложил пергамент в вашу руку и когда вы собрались рассматривать его, вбежал Вольф — ньюфаундлендская собака — и прыгнул вам на плечи. Левой рукой вы ласкали его и отстраняли, между тем как вашу правую руку, держащую пергамент, вы уронили небрежно между ваших колен и в непосредственной близости от огня. Одно мгновение я думал, что пламя охватило его, и хотел уже предостеречь вас, но,

прежде чем я успел заговорить, вы приблизили его к себе и начали вновь рассматривать. Когда я обсудил все подробности, я ни минуты не колебался, что влияние тепла вызвало на свет Божий тот череп на пергаменте, который я видел нарисованным на нем. Вы хорошо осведомлены, что с незапамятных времен существуют химические препараты, при посредстве которых возможно писать на бумаге или пергаменте так, что буквы делаются видимыми только тогда, когда их подвергнуть действию тепла. Иногда употребляется цафра, растворенная в aqua regia[50] и разбавленная в четырехкратном количестве воды сравнительно со своим весом; в результате получаются чернила зеленого цвета. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красный цвет. Эти цвета пропадают более или менее скоро, после того как материал, на котором пишут, остынет, но опять делаются видимыми при нагревании.

Я снова стал рассматривать мертвую голову с большим тщанием. Внешние ее очертания — очертания рисунка, наиболее близкие к краям пергамента, — были гораздо более явственны,

---

[50] Примечания: 50
Царская водка *(лат.).*

чем другие. Было очевидно, что действие тепла было несовершенно или неровно. Я тотчас же зажег огонь и подверг каждую часть пергамента действию сильного жара. Сначала единственным результатом было усиление бледных линий черепа. При продолжении опыта на углу узкой полосы, противоположной, по диагонали, тому месту, где была начерчена мертвая голова, появилось изображение чего-то, что я сначала принял за козу. При более тщательном исследовании я убедился, однако, что тут было намерение изобразить козленка.

— Ха, ха! — сказал я. — Конечно, я не имею права смеяться над вами — полтора миллиона монет слишком серьезная вещь, чтобы шутить, — но вы не сможете установить третье звено в нашей цепи — вы не найдете никакого особенного соотношения между вашими пиратами и козами — пираты, как вы знаете, не имеют ничего общего с козами; это больше касается фермеров.

— Но я вам не сказал, что это была фигура козы.

— Ну, хорошо, козленок — но это почти что то же самое.

— Почти что, но не совсем, — сказал Легран. — Вы, быть может, слышали о некоем капитане

Кидде. Я тотчас же стал смотреть на изображение животного, как на род игры слов или иероглифической подписи[51]. Я говорю — подпись, потому что положение животного на пергаменте внушало эту мысль. Мертвая голова в углу, противоположном но диагонали, имела также вид клейма или печати. Но я был огорчен отсутствием всего остального — самого тела моего воображаемого инструмента — текста для моего воображаемого документа.

— Я полагаю, вы надеялись найти письмо между штемпелем и подписью?

— Что-нибудь в этом роде. Дело в том, что я почувствовал себя под неудержимым впечатлением предчувствия какой-то огромной удачи, которая вот уже рядом. Мне трудно сказать почему. Быть может, в конце концов, это было скорее желанием, нежели действительной верой; но, знаете ли, глупые слова Юпитера о том, что жук — из чистого золота, имели удивительное действие на мое воображение. И потом этот ряд совпадений — они были такие необыкновенные. Заметили ли вы, что все это случилось в тот самый единственный из всего года день, в который было или

---

[51] Примечания: 51
Kid *(англ.)* — козленок. — *Примеч. перев.*

могло быть настолько холодно, что нужно было затопить, и что без огня или без содействия собаки, в тот самый миг, в который она появилась, я никогда не узнал бы о мертвой голове и никогда не сделался бы обладателем клада.

— Но продолжайте — я весь горю нетерпением.

— Хорошо. Вы слышали, конечно, множество разных рассказов — тысячу смутных слухов относительно кладов, зарытых где-то на берегу Атлантики Киддом и его сообщниками. Эти слухи должны были иметь какое-либо основание в самой действительности. И то, что эти слухи существовали так долго и были такими постоянными, могло проистекать, как мне казалось, лишь из того обстоятельства, что клад оставался схороненным. Если бы Кидд на время только спрятал свою добычу и потом взял ее обратно, эти слухи вряд ли дошли бы до нас в настоящей их неизменной форме. Заметьте, что все рассказы говорят об искателях золота, а не о нашедших золото. Если бы пират взял обратно свои деньги, этим все дело было бы исчерпано. Мне кажется, что какой-нибудь случай — скажем, потеря записи, указывающей местонахождение клада, — лишил его возможности отыскать клад и

что это происшествие сделалось известным его товарищам, которые иначе не могли бы ничего знать о спрятанном кладе и которые совершенно напрасно старались его найти, ибо не имели руководства, и это все распространило данные слухи, которые стали теперь такими известными. Слыхали ли вы когда-нибудь о каком-либо значительном кладе, отрытом на берегу?

— Никогда.

— Но Киддом было скоплено чрезвычайно много, это хорошо известно. Я был потому уверен, что земля доныне хранит эти сокровища; и вряд ли вы будете удивлены, если я скажу вам, что я испытывал надежду, которая граничила с уверенностью, что пергамент, найденный при столь странных обстоятельствах, заключал в себе утраченную запись местонахождения клада.

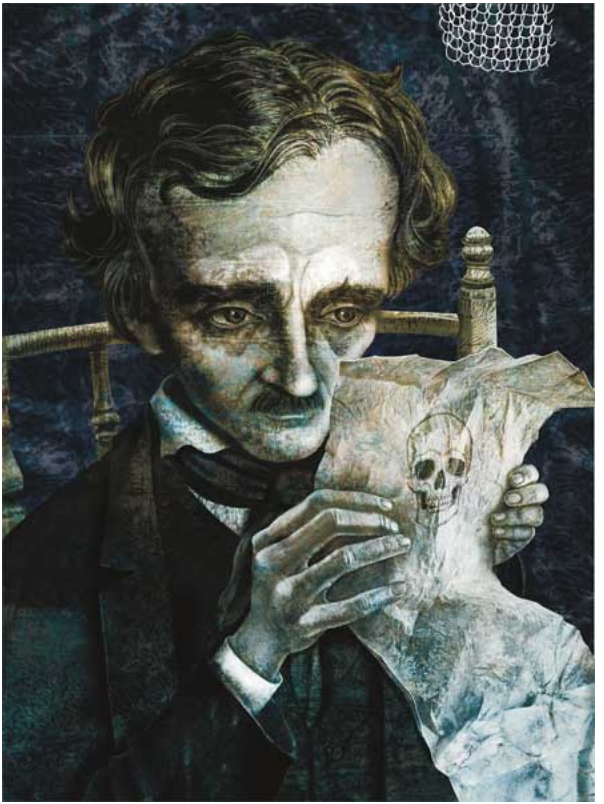
— Но как же вы поступили дальше?

— Я снова поднес пергамент к огню, после того как увеличил жар, но ничего не появлялось. Возможно, подумал я, что слой грязи на нем был причиной неудачи. Итак, я осторожно сполоснул пергамент теплой водой и, сделав это, положил его в жестяную кастрюлю, черепом вниз, и поставил ее в печь с раскаленными угольями. Через несколько минут, когда кастрюля была

основательно нагрета, я вынул свиток и, к моей несказанной радости, нашел, что он был накраплен в различных местах тем, что, как казалось, было цифрами, расположенными по строкам. Опять я положил его в кастрюлю и оставил его так еще на некоторое время. Когда я вынул его, весь он был такой, каким вы видите его теперь.

Здесь Легран, вновь нагрев пергамент, представил мне его для осмотра. Следующие знаки были грубо начерчены красными чернилами между мертвой головой и козленком:

; 4826)4;)4Г); 806*; 48+ 8||бО))85;; 8* ;: ;*8 + 83 (Щ 5* + ;4б(;'88*96*?;8)*Т (;485); 5*+2: *+(; 4956*2 (5*=4)8||8*; 4069285) ;)6 + 8) 4||; 1 09; 48081; 8 : 8|1; 48 + 85; 4) 485 + 528806* 81 (;9;48; <88;4('?34;48)



— Но, — сказал я, возвращая ему свиток, — я в таких же потемках, как и раньше. Если бы все

сокровища Голконды[52] ожидали меня за разрешение этой загадки, я вполне уверен, что не был бы способен получить их.

— И однако же, — сказал Легран, — разгадка отнюдь не так трудна, как это может нам представиться при первом беглом взгляде на письмена. Эти знаки, как каждый легко может догадаться, составляют шифр — то есть в них может скрыто известное значение: но по тому, что известно о Кидде, я не могу считать его способным построить более или менее сложную тайнопись. Я с самого начала подумал, что эта запись — из простейших образцов — все же такая, что она должна была казаться грубому уму матроса совершенно неразрешимой без ключа.

— И вы действительно разрешили ее?

— Легко, я разрешал другие, в тысячу раз более отвлеченные. Обстоятельства и известные склонности ума заставили меня интересоваться такими загадками, и весьма можно сомневаться, способна ли человеческая изобретательность построить такого рода загадку, которую человеческая находчивость при правильном применении не могла бы разрешить. Действительно, устано-

---

[52] Примечания: 52

Голконда — город в Индии, богатый бриллиантами. — *Примеч. перев.*

вив сначала связь и удобочитаемость знаков, я едва ли даже и думал о трудности разоблачения их смысла.

В данном случае — так же, впрочем, как и во всех других случаях тайнописи, — первый вопрос касается языка шифра, ибо принципы разрешения, раз дело идет лишь о простых шифрах, зависят здесь особенно от своеобразного характера каждого языка, и им они видоизменяются. Вообще, здесь нет иного выбора, как последовательно испытывать один язык за другим, пока не будет найден надлежащий. Но в шифре, нас интересующем, всякая трудность была устранена подписью. Игра слов Kidd и kid не могла быть ни в каком другом языке, кроме английского. Без этого соображения я начал бы свою пробу с испанского и французского как с языков, на которых скорее всего могла быть записана тайна такого рода пиратом испанского происхождения. В данном случае я предположил, что тайнопись была английской.

Как вы можете заметить, здесь нет разделений между словами. Если бы они были разделены, задача сравнительно была бы легкой. В этом случае я бы начал с сопоставления и анализа самых коротких слов, и если бы попалось слово

из одной буквы, как это часто бывает (местоимение «я» и союз «и», например), я считал бы загадку разрешенной. Но так как там не было разделений, моим первым шагом было определить господствующие буквы, так же как и те, которые встречаются наиболее редко. Сосчитав все, я построил следующую таблицу:

Знак 8 повторяется 34 раза
"; 27 раз
" 4 " 19 "
") "16 "
" # " 15 "
" * " 14 "
" 5 " 12 "
" 6 " 11 "
" + " 8 "
" 1 " 7 "
" 0 " 6 "
9 и 2 " 5 "
": и □ " 4 раза
"? " 3 "
"]] " 2 "
" =и] " 1 раз.



В английском языке буква, которая встречается чаще всего, есть e. Потом они идут в такой последовательности: a, o, /, d, h, n, r, s, t, и, y, c, f, g, I, m, w, b, к, p, q, x, z. А e так особенно главенствует, что редко можно встретить отдельную, сколько-нибудь длинную фразу, в которой оно не было бы господствующей буквой.

Хорошо. Теперь мы имеем в самом начале основание для чего-то большего, чем простая догадка. Общее пользование таблицей может быть применено вполне ясно — но в этом особенном шифре мы только отчасти будем прибегать к ее помощи. Так как наш господствующий знак 8, мы начнем с того, что возьмем его — как e обыкновенной азбуки. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, часто ли 8 встречается дважды подряд, так как e дублируется очень часто в английском

— например, в таких словах, как «meet», «fleet», «speed», «seen», «been», «agree» и т. д. В данном случае мы видим это повторение не менее пяти раз, несмотря на то что криптограмма очень короткая.

Возьмем же 8 как e. Изо всех слов в речи «the» самое употребительное; посмотрим, следовательно, не найдем ли мы повторения каких-нибудь трех знаков в тождественном порядке сочетания, чтобы последний из них был 8. Если мы найдем повторения этих знаков, так расположенных, они, по всей вероятности, составят артикль «the». По рассмотрении мы находим не менее чем семь таких сочетаний, знаки эти —;48. Мы можем поэтому предположить, что; означает t, 4 означает A и 8 означает e — последнее вполне подтверждено. Это большой шаг вперед.

Но, установив одно отдельное слово, мы можем установить еще более важный пункт, то есть различные начала и окончания других слов. Возьмем, например, последний случай — тот, в котором сочетание;48 встречается недалеко от конца шифра. Мы знаем, что знак;, непосредственно следующий за 8, есть начало какого-нибудь слова, а из шести знаков, следующих за этим the, мы знаем не менее пяти. Заменим эти знаки

изображающими их буквами, которые мы уже знаем, оставив место для неизвестных знаков:

t. eeth

Тут мы должны будем сразу отделить «th», которое не может составлять части слова, начинающегося первым t; ибо, пробуя по порядку буквы всей азбуки в применении к пробелу, мы видим, что никакое слово не может быть образовано, у которого это «. th» было бы окончанием. Таким образом, мы сосредоточиваемся на

t. ee

и, вновь, как раньше, перебирая, если это нужно, азбуку, мы доходим до слова «tree» (дерево), как единственного подходящего. Таким образом, мы получаем другую букву, r, изображаемую знаком (, и можем прочитать уже несколько слов: «the tree».

Встречая немного дальше эти же слова, мы вновь видим сочетание знаков;48 и берем его как окончание того, что непосредственно предшествует ему. Таким образом, мы имеем следующее расположение:

the tree; 4 ++? 34 the

Заменив обыкновенными буквами знаки, которые нам уже известны, читаем это так:

the tree thr ++? 3h the

Теперь, если мы на месте неизвестных нам букв оставим пробелы или заменим их точками, мы читаем следующее:

the tree thr... h the

— слово «through» делается очевидным тотчас же. Но это открытие дает нам три новые буквы — o, и и g, изображенные в криптограмме ++? и 3.

Внимательно отыскивая теперь в шифре сочетание известных нам знаков, мы находим недалеко от начала следующее сочетание:

83 (88

или «egree», которое, конечно, есть окончание слова «degree» (степень, градус) и которое дает нам другую букву d, изображаемую знаком +.

Четырьмя буквами далее за словом «degree» мы видим сочетание:

; 48 (; 88*

Переводя известные знаки, а неизвестные изображая точками, как раньше, мы читаем

следующее:

th.rtee

— сочетание, которое тотчас внушает слово «thirteen» (тринадцать), и опять дает нам две новые буквы (и я, обозначаемые как 6 и *.

Обратившись теперь к началу тайнописи, мы находим сочетание:

53++ +

Переводя как раньше знаки, мы получаем:

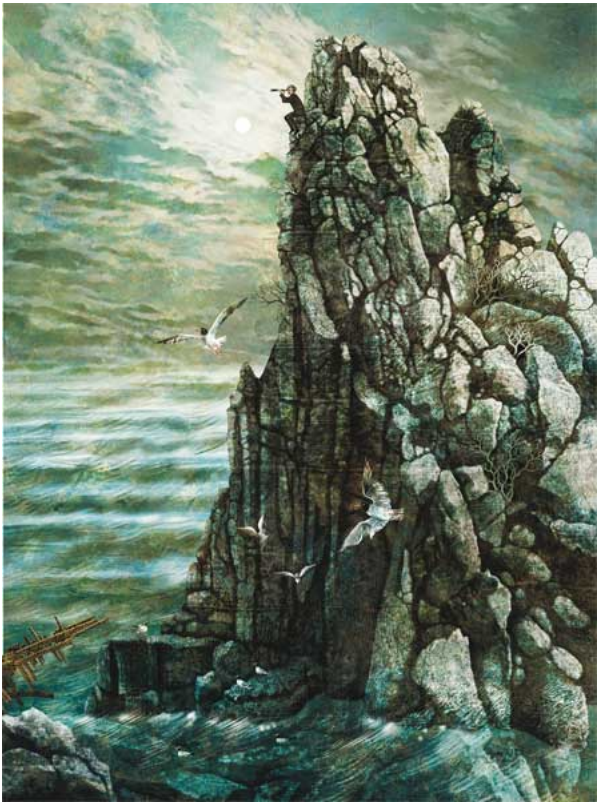
.good

— что удостоверяет нас, что первая буква есть A и что первые два слова суть «A good» (хороший). Теперь пора нам расположить наш ключ, поскольку он открыт, в порядке таблицы, чтобы избежать путаницы. Это будет так:

5 означает a
+ " d
8 " e
3 " g
4 " h
6 " i
* " n
f " 0

(" r
; " t

Таким образом, мы имеем не менее десяти наиболее употребительных букв, и бесполезно было бы продолжать дальнейшее изображение подробностей разгадки. Я достаточно сказал, чтобы убедить вас, что шифр такого рода может быть легко разрешен, и чтобы дать вам некоторое понимание способа его развития. Но будьте уверены, что образчик, находящийся перед нами, принадлежит к простейшим образцам тайнописи. Теперь остается только дать вам полный перевод знаков на пергаменте в том виде, как они разгаданы. Вот они:



«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat — twenty-one degrees and thirteen minutes — i northeast and by north — main branch seventh limb

east side — shoot from the left eye of the death's-head — a beeline from the tree through the shot fifty feet out» (*«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут к северо-востоку и на север главная ветвь седьмой сук восточная сторона стреляй сквозь левый глаз мертвой головы по прямой линии от дерева навылет пятьдесят футов»).*

— Но, — сказал я, — загадка, по-видимому, в таком же плохом положении, как и до сих пор. Как возможно исторгнуть какой-нибудь смысл из всего этого жаргона о «чертовых стульях», «мертвых головах» и «домах епископа»?!

— Согласен, — ответил Легран, — что дело это все еще кажется серьезным, если на него смотрят беглым взглядом. Моей первой заботой было угадать естественное разделение фразы, которое разумел тайнописец.

— Вы говорите, поставить знаки препинания?

— Что-нибудь в этом роде.

— Но как было возможно сделать это?

— Я подумал, что это был намеренный умысел пишущего — поставить слова эти вместе без разделений, дабы таким образом увеличить трудность разгадки. Но не слишком утонченный человек в преследовании такой цели почти на-

верняка перейдет меру. Когда в ходе его работы он подходит к перерыву в содержании, который, конечно, будет требовать паузы или точки, он будет иметь чрезмерную склонность в этом самом месте ставить буквы ближе друг к другу, чем обыкновенно. Если вы станете рассматривать манускрипт, то здесь вы легко найдете пять случаев такого рода необыкновенно тесного писания. Опираясь на такое указание, я сделал разделение следующим образом:

«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat — twenty-one degrees and thirteen minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the left eye of the death's head — a beeline from the tree through the shot fifty feet out» *(«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — к северо-востоку и на север — главная ветвь седьмой сук восточная сторона — стреляй сквозь левый глаз мертвой головы — по прямой линии от дерева на вылет пятьдесят футов»).*

— Все же и при таком разделении, — сказал я, — я остаюсь в потемках.

— Я также был несколько дней в потемках, — сказал Легран. — В продолжение этого времени я усердно расспрашивал в окрестностях острова

Сэлливана о каком-либо здании под названием Bishop's Hostel (Дом Епископа), ибо я, конечно, не подумал о вышедшем из употребления слове «hostel»[53]. Не получив никакого сведения по этому поводу, я почти уже готов был расширить сферу поисков и делать их более систематично, как однажды утром, совсем внезапно, меня осенила мысль, что этот «Bishop's Hostel» мог иметь какое-нибудь отношение к какой-либо старинной фамилии по имени Bessop, которая с незапамятных времен владела старым замком около четырех миль к северу от острова. Я отправился поэтому на ту сторону к плантациям и возобновил мои расспросы среди старожилов той местности. Наконец, одна из самых старых женщин сказала, что она слыхала о таком месте, которое называлось Замок Биссопа, и что может проводить меня туда, но что это не был замок или гостиница, а высокая скала.

Я предложил хорошо заплатить ей за ее хлопоты, и после некоторого колебания она согласилась сопровождать меня к этому месту. Мы нашли его без большого труда, и, отпустив ее, я начал исследовать это место. «Замок» состоял из

---

[53] Примечания: 53

Kostel — дом. В применении к обиталищу человека зажиточного. — *Примеч. перев.*

беспорядочного собрания скал и утесов, один из которых особенно выделялся своей вышиной, так же как и отъединенным искусственным видом. Я взобрался на его вершину и тут почувствовал некоторое недоумение, что теперь предпринять.

Меж тем как я был погружен в размышления, мой взгляд упал на узкий выступ на восточной стороне утеса, может быть одним ярдом ниже вершины, на которой я стоял. Этот выступ выдавался на восемнадцать дюймов и был не более одного фута ширины. Углубление в утесе, как раз над ним, придавало ему грубое сходство с одним из тех стульев с вогнутой спинкой, которые были у наших предков. Я не усомнился в том, что это и был «Чертов стул», на который намекал манускрипт, и теперь мне казалось что я овладел всей тайной загадки.

«Хорошее стекло», я знал, не могло относиться ни к чему иному, как только к подзорной трубе; ибо слово «стекло» редко употребляется моряками в каком-либо ином смысле. Теперь я был уверен, что нужно было пользоваться подзорной трубой, и с определенной точки, не допускавшей никакого отклонения. Я не сомневался также, что выражение «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-восток и к северу»

означали направление для наведения «стекла». Очень взволнованный всеми этими открытиями, я поспешил домой, раздобыл подзорную трубу и возвратился к утесу.

Я спустился вниз к выступу и заметил, что держаться на нем было возможно, лишь сидя в одном определенном положении. Этот факт подтвердил возникшее во мне предположение. Я стал смотреть в подзорную трубу. Конечно, «двадцать один градус и тринадцать минут» не могли относиться ни к чему иному, кроме высоты над видимым горизонтом, ибо горизонтальное направление было ясно указано словами «северо-восток и к северу». Это последнее направление я сразу установил с помощью карманного компаса; потом, наставив «стекло» приблизительно под углом в двадцать один градус высоты, насколько я мог сделать это догадкой, я стал осторожно передвигать его вверх и вниз, пока внимание мое не было остановлено круглым просветом, или отверстием, в листве большого дерева, превышавшего своих сотоварищей на всем этом пространстве. В средоточии этого просвета я заметил белую точку, но сначала не мог разобрать, что это было. Наведя фокус подзорной трубы, я опять стал смотреть и теперь убедился, что это был человеческий череп.

При этом открытии я так возликовал, что считал загадку разрешенной, ибо слова «главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, между тем как «навылет из левого глаза мертвой головы» допускало также только одно объяснение по отношению к отыскиванию зарытого клада. Я понял, что указание повелевало пропустить пулю через левый глаз черепа и что прямая линия, продолженная от ближайшей точки ствола «навылет» (или устремленная к месту, куда упадет нуля) и отсюда протянутая на расстояние пятидесяти футов, указала бы некоторое определенное место — и около этого-то места, как я по крайней мере полагал, возможно, что сложены спрятанные сокровища.

— Все это, — сказал я, — чрезвычайно ясно, хотя замысловато, но все же просто и понятно. Когда вы оставили Дом Епископа, что было дальше?

— Когда я тщательно заметил местоположение дерева, я вернулся домой. В тот самый миг, однако же, как я оставил «Чертов стул», круглое отверстие исчезло, и после я не мог увидеть даже признака его, как бы я ни повертывался. Что мне показалось верхом изобретательности во всем этом деле, так это тот факт (повторяя опыт, я убе-

дился, что это было так), что круглое отверстие, о котором мы говорили, видно было лишь с одной достижимой точки, именно даваемой этим узким выступом на лицевой стороне утеса.

В этой экспедиции к «Дому Епископа» меня сопровождал Юпитер, который, без сомнения, заметил в продолжение нескольких недель мой отсутствующий вид и особенно заботился о том, чтобы не оставлять меня одного. Но на следующий день, встав очень рано, я ухитрился улизнуть от него и отправился в холмы отыскивать дерево. После больших хлопот я нашел его. Когда к ночи я вернулся домой, мой слуга собирался меня побить. Обо всем остальном в этом происшествии, я думаю, вы осведомлены так же хорошо, как и я.

— Я полагаю, — сказал я, — вы ошиблись точкой при первой попытке сделать раскопку благодаря глупости Юпитера, который пропустил жука через правый глаз черепа вместо левого.

— Конечно. Эта ошибка сделала разницу приблизительно в два дюйма с половиной относительно «выстрела» — то есть положения клина, ближайшего к дереву; и если бы клад находился под местом «выстрела» — ошибка была бы маловажная; но линия «выстрела» вместе с ближайшей точкой дерева была необходима для

того, чтобы установить направление; конечно, ошибка, хотя и малая вначале, увеличилась по мере того, как мы продолжали линию, и по истечении времени мы отошли на пятьдесят футов, что совершенно заставило нас потерять след. Но без моего глубоко засевшего убеждения, что сокровища были зарыты где-то здесь, вся наша работа оказалась бы напрасной.

— Однако все ваши пышные фразы и ваше размахивание жуком — как это было необыкновенно странно! Я был уверен, что вы сошли с ума. И почему вы настаивали на том, чтобы пропустить через череп жука вместо пули?

— Ну, говоря откровенно, я чувствовал себя несколько раздосадованным вашими явными подозрениями относительно здравого состояния моего ума и решил хорошенько наказать вас, по-своему, небольшой дозой умеренной мистификации. Поэтому я размахивал жуком, поэтому я велел спустить его с дерева. Ваше замечание относительно его веса внушило мне эту мысль.

— Да, я понимаю; а теперь остается один пункт, который интригует меня. Что нам думать о скелетах, найденных в яме?

— Это вопрос, на который я так же мало могу ответить, как и вы. Все же, мне кажется, есть толь-

ко одно правдоподобное объяснение этого — и, однако, ужасно подумать о такой жестокости, которая возникает в моем воображении. Ясно, что Кидду — если это действительно Кидд схоронил этот клад, в чем я не сомневаюсь, — ясно, что ему должны были помогать в его работе. Но, когда работа была окончена, он, должно быть, счел нужным удалить всех участников своей тайны. Двух ударов киркой было, может быть, достаточно, в то время как его помощники работали в яме, а может быть, тут понадобилась и целая дюжина — кто скажет?

